

ВЫСОТА ПАМЯТИ



Р.Е.Тард

Роман Тард

Высота памяти 1

«Автор»

2026

Тард Р. Е.

Высота памяти 1 / Р. Е. Тард — «Автор», 2026

«Высота памяти» — серия военно-технических романов об авиации Великой Отечественной войны, увиденной глазами профессионального пилота XXI века. Это жёсткая, предметная проза о воздушном бое, цене командных решений и превращении личного опыта в систему, способную сохранять жизни. Здесь нет магических интерфейсов, всемогущего знания будущего и лёгких побед: техника имеет предел, факты требуют проверки, а каждое изменение оплачивается риском, ресурсами и человеческой ответственностью. Альтернативная история вырастает не из чудес, а из ремесла — подготовки, связи, тактики, работы механиков и умения признавать ошибки. Серия сочетает динамичный боевик, производственный роман и психологическую драму о памяти, долге и постепенном вращении человека в чужую эпоху.

© Тард Р. Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	11
Глава 3	17
Глава 4	22
Глава 5	26
Глава 6	32
Глава 7	38
Глава 8	44
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Роман Тард

Высота памяти 1

Глава 1

Гроза встала стеной от земли до двенадцатого километра. Обходить её мы начали ещё за сорок миль. На снижении бортовой локатор ослеп, а диспетчер продолжал вести в просвет между засветками. Просвет схлопнулся за минуту: впереди уже лежала сплошная чернота, сзади — та же стена, а под нами тайга без единого огня. Машина вошла в грозу прежде, чем мы успели из неё отвернуть.

Болтанка началась вежливо. Пол качнуло раз, другой. Мягко, будто извиняясь заранее. Я знал эту вежливость. За ней всегда идёт то, что вежливым не бывает.

Пришло на третьей минуте.

Машину подбросило. В хвосте что-то сорвалось и ударилось о переборку. За спиной, в тёмном салоне, разом охнули полторы сотни человек — те, кого я вёз и кто про тайгу под собой не думал. Я подобрал крен. Поймал вариометр. Стрелка валилась вниз злее, чем нужно. Повёл колонку на себя. Ровно. Без рывка. Так берут под уздцы норовистую лошадь: дёрнешь — понесёт.

Справа второй пилот читал карту вслух, быстро, и голос у него стоял на полтона выше обычного. Я не слушал слов. Я слушал машину. Моторы тянули. Обшивка дрожала. Держалась. Тридцать лет над облаками говорили во мне ровно: доведу.

— Крен растёт, — сказал второй.

— Вижу. Скорость держи.

— Связи нет.

— Значит, не трать на неё руки. Высоту.

Он назвал. Я попросил повторить — не потому, что не расслышал, а чтобы он сам услышал цифру своим голосом и перестал смотреть на меня. Помогло. Он выдохнул, проверил привязные ремни и снова взялся за карту. В кабине нас было двое, и грозе было безразлично, сколько лет я командовал экипажами. Если второй человек перестанет работать, мои тридцать лет превратятся в одну пару рук там, где нужны две.

Из салона вызвала старшая бортпроводница. Говорила отрывисто; на задней кухне сорвало тележку, один пассажир разбил лицо, в проходе лежал багаж. Я велел посадить всех, кого можно посадить, пристегнуться самим и больше не звонить, пока кабина не вызовет. Она ответила сразу, без вопроса. Хороший экипаж узнаётся не в докладе после рейса. Хороший экипаж в плохую минуту освобождает тебе голову.

— Разворот вправо? — спросил второй.

Справа на экране лежала такая же глухая засветка, только ближе. Слева молнии шли одна за другой. Позади просвет уже закрылся, и попытка вернуться означала подставить борт под то, что только что ударило нас в хвост.

— Нет. Держим. Ищи всё, что ровнее впереди.

— Там лес.

— Знаю.

Слово вышло спокойным. Страх не входил в перечень того, чем можно было сейчас управлять. Скоростью — можно. Креном — можно. Работой человека справа — тоже. Остальное подождёт до земли, если земля даст нам после себя хоть какое-нибудь «после».

Диспетчер ушёл в треск на первом же ударе. Земля близко. Гроза глушила всё. Оставалась только машина и мои руки на ней.

Тряхнуло сильнее. Потом ещё. Ремни резали плечо. Я держал горизонт по единственному прибору, который ещё верил мне, и вёл вниз — по метру, нащупывая под собой то, чего не видел.

Второй пилот назвал высоту. Я не переспросил. Высота была нехорошая. Ниже — только верхушки.

Я решил. Садиться. Пока машина ещё слушается, пока есть чем держать нос. Второго решения гроза не даст.

Молния встала слева. Близко. Белая, беззвучная в первую долю секунды.

Потом ударило.

Не звуком — воздухом. Восходящий поток вошёл под левую плоскость снизу, как кувалда. Машина клюнула. Я отдал ногу. Добрал штурвалом. Красное сыпалось в глаза с приборной доски. Речевой сигнал долбил одно и то же ровным механическим голосом, без страха, без спешки — ему было всё равно.

На секунду мне показалось, что выровнял.

На секунду.

Земля пришла быстро.

Я успел добавить крен. Успел удержать нос. Успел понять — коротко, одним телом, без слов, — что у полутора сотен за спиной ещё оставался шанс: машина ложилась почти ровно, почти на брюхо, почти.

А сам я не успел ничего.

Свет. Потом тьма. Потом и её не стало.

* * *

Первым вернулся запах.

Прелая солома, сырой брезент, застоявшийся чужой пот, въевшийся в ткань до костяного, ни с чем не сравнимого духа — так пахнет только там, где долго и тесно спят вповалку немытые, усталые люди, и где эту тесноту давно перестали замечать. Так не пахло нигде и никогда за всю мою жизнь. И это было первое, что я понял, ещё не открыв глаз: я не там, где был.

Второе я понял руками.

Они лежали поверх грубого суконного одеяла, и они были чужие. Свои руки я знаю, как знают лицо в зеркале: крупные, тяжёлые, с надломленным в юности мизинцем, с той старческой сеткой на тыльной стороне, которую к сорока семи уже ничем не сведёшь. Эти были другие — лёгкие, узкие в кисти, с длинными сухими пальцами, и когда я поднёс их к лицу в темноте, медленно, будто чужую вещь, взятую без спросу, они послушались с зазором, с той крохотной задержкой, с какой слушается новый инструмент, к которому руки ещё не примерились.

И тогда же случилось первое, чему я не нашёл имени. Правая рука, ещё до того как я хоть что-нибудь решил, сама потянулась вбок и вверх — коротким, заученным до сна движением, каким тянутся к тумблеру над головой, к рычагу, которого касаются по сто раз за смену и уже не глядя. Пальцы прошли пустоту и ничего не встретили. Ни тумблера. Ни рычага. Ни знакомой холодной кромки над плечом. Рука повисла в тёмном воздухе, растерянная, как бывает растерян человек, шагнувший в темноте на ступеньку, которой нет, — и медленно опустилась обратно на одеяло. Тело моё, старое тело, тянулось к приборам, которых больше не было. А новое, чужое, этих приборов знать не знало.

Я лежал и не шевелился дольше, чем нужно, чтобы проснуться. Потом сделал единственное, что умею, когда под ногами разом обрушивается всё привычное: начал собирать факты. Медленно, по одному, как собирают рассыпавшийся крепёж, — торопливый счёт всегда врёт, а соврать себе я сейчас не мог.

Первый факт был простой: я дышал. Воздух входил и выходил, грудь под ним поднималась мельче и чаще, чем я привык за собой замечать. Живой. Стало быть, счёт не впустую.

Тело подо мной было чужое и молодое. Оно и лежало иначе, чем моё, — рёбра ближе к коже, живот втянут, вес ушёл на треть, будто с меня сняли годы вместе с их тяжестью, — и в этой лёгкости не было ни бодрости, ни здоровья: тонкая, ноющая, голодная слабость, из тех, что сном не лечатся. Её ставит долгий недоед, и я знал эту разницу умом, по чужим рассказам и старым книгам, но никогда прежде не носил её под собственной, вернее — под этой, теперь моей, кожей. Во рту стоял кислый привкус пустого желудка и чужого сна.

Я поднёс к лицу свободную руку — осторожно, всё с той же чужой задержкой в пальцах — и провёл по щеке, по подбородку, по коротко остриженному, ещё колючему затылку. Под ладонью жил незнакомец: гладкая, не знавшая бритвы кожа на скулах, твёрдый молодой подбородок, круглая мальчишеская щека — и ни одной из тех складок, борозд и мелких рубцов, по которым я и в полной темноте узнал бы собственное лицо на ощупь. Чужое лицо слушалось меня, поворачивалось под моей рукой так, как поворачивалось бы своё. Хуже этого послушания не было ничего.

Над головой покато провис брезент, и в прорехе у конька темнело небо с одной мутной, размытой звездой. Палатка. Я приподнялся на локте, и голова качнулась: перед глазами поплыл серый круг, потом нехотя сошёл обратно. Резко вставать это тело не позволяло.

Снаружи, за тонкой стенкой, жила ночь. Не городская, не моя — плотная, деревенская, с полным набором звуков, которые город давно из себя вытравил: где-то ближе к краю поля коротко всхрапнула и переступила лошадь; ещё дальше, за палатками, тонко, по-железному тенькнуло — раз, другой, с ленцой, как тенькает металл под рукой человека, которому спешить некуда; и надо всем этим стоял ровный ватный стрёкот бесчисленных ночных кузнечиков, тот самый, что бывает только в июне и только в тепле. Я слушал эти звуки и складывал их к прочим фактам, и они ложились нехорошо, все в одну сторону, все против меня.

Пол был дощатый, настланный кое-как, с зазором между плахами. Босая ступня — тоже чужая, узкая, с широким крестьянским подъёмом — встала в этот зазор и нашла под досками холодную, ещё ночную землю. Земля холодила. Воздух — нет: ночь стояла тёплая, короткая, из тех июньских ночей, что не успевают как следует потемнеть, а уже сереют с востока.

Я отыскал в темноте свою — не свою — левую ладонь и провёл по ней большим пальцем. Под подушечкой большого пальца сидела мозоль. Твёрдая, старая, набитая у основания указательного и среднего — там, где набивает черенок или ручка управления, что-то, что держат подолгу и с силой. Я потёр её ещё раз, будто через кожу можно было что-то вспомнить. Кожа молчала. Мозоль осталась чужой, и рука, что её набила, прожила без меня двадцать с лишним лет, отдав их какому-то делу, о котором я пока не знал ничего, — а теперь эта рука досталась мне, вместе с голодной слабостью в животе, с соломой под боком и с чужим ровным дыханием в двух шагах.

Как я тут оказался — я не знал. И, если по совести, в ту минуту меня меньше всего занимало «как». «Как» подождёт. «Как» я убрал в дальний угол, куда убирают инструмент, до которого дойдут руки, но не сейчас. Сейчас важнее было «где» и «когда». А эти двое подступали сами, из-за тонкой брезентовой стенки, вместе с сыростью, с кузнечиками и с первым серым светом.

* * *

Рядом кто-то спал.

Я разобрал его не сразу — сперва по дыханию, ровному, молодому, с лёгким присвистом на выдохе. Парень лежал в двух шагах, лицом к скату, подложив под щеку кулак, и во сне у него было то самое незанятое лицо, какое бывает у людей, которым пока нечего себе прощать. Совсем молодой. Моложе моего второго пилота. Моложе, пожалуй, чем стал теперь и я сам, — если мерить телом; по тому, что в это тело вселилось, я был куда старше. На табурете у

его изголовья лежали сложенные сапоги, портянки и ремень; поверх ремня — что-то плоское, книжечка в жёсткой корке, из тех, что носят у сердца и берегут пуще денег. Я не тронул. Чужой сон и чужие бумаги — последнее, во что стоит лезть человеку, который сам ещё не знает, кто он тут.

Я поднялся, придерживаясь за жердь, и постоял, пережидая серую пелену перед глазами: на пустой желудок и с чужого роста она вставала легко и опадала неохотно. Гимнастёрка висела на колышке у изголовья. Я снял её на ощупь, продел руки, застегнул на живую нитку крючок у ворота — и она села впору. На этого. На молодого. На того, чьё место я занял, не спросив ни его, ни себя. От этого «впору» стало холоднее, чем от досок под ногами. Одежда чужого человека села на меня как своя. Значит, надолго. Значит, всерьёз.

За спиной зашуршало одеяло.

— Соколов, ты чего?

Я не обернулся сразу. Фамилия прошла мимо, как оклик на перроне, предназначенный другому. Парень на койке приподнялся, шурясь спросонья.

— Соколов. Оглох?

— На воздух, — сказал я.

Голос тоже оказался чужим: выше моего, сухой после сна. Но вышел без срыва. Уже польза.

— Босиком?

Я посмотрел вниз. Сапоги стояли под моей койкой; портянки были свёрнуты и засунуты в голенища. Собственное имущество нашлось там, где его оставлял настоящий хозяин, и от этой хозяйской аккуратности стало не по себе сильнее, чем от беспорядка. Я сел, развернул ткань. Руки знали, как уложить её на ступне, раньше головы: угол, оборот, натянуть без складки. Это умел не Северин. Этому научили тело.

— Который час? — спросил я.

— Откуда я знаю? До подъёма далеко.

— День какой?

Парень перестал зевать.

— Ты вчера головой не бился?

— Мог. День?

— Воскресенье. Двадцать второе. Июня, если месяц тоже забыл. Спи, Андрюха. Сегодня хоть полдня не будут гонять.

Он снова лёг, отвернулся к стенке и через несколько дыханий вернулся в сон — так легко, как умеют только молодые и очень уставшие. Я остался сидеть с недомотанной портянкой в руках.

Соколов. Андрюха. Двадцать второе июня.

Три ответа пришли разом и не ответили ни на один вопрос, который имел значение. Зато дали роль, имя и срок. До рассвета оставалось меньше, чем парень думал.

Я домотал портянки и надел сапоги. Первый прошёл легко, второй пришлось осаживать за голенище обеими руками. Даже в этом была чужая память: пятка нашла место, ткань не сбилась, пальцы расправили складку у щиколотки. Моего в движении не было ничего, кроме внимания.

У входа брезент был откинут и приторочен к колу. В проёме стоял тот особый предутренний свет — серый, ровный, без источника, — когда небо уже отпустило ночь, но ещё не решилось на день. Я шагнул наружу.

У кухни стояла бочка с водой, накрытая сбитым из досок кружком. На кружке лежал жестяной ковш. Я зачерпнул, умылся; вода была колодезная, злая, и молодое тело от неё передрнулось, живот подобрался под рёбра. В выпуклом боку ковша на мгновение собралось лицо — растянутое, кривое, но живое. Светлые волосы торчали после сна. Скулы ещё не успели

обрасти взрослой тяжестью. Под глазами залегли тени, какие бывают не от возраста, а от плохой еды и ранних подъёмов. Я повернул ковш, и незнакомец исчез в сером металле.

На лавке рядом сохла чья-то выстиранная гимнастёрка. Из кармана торчала деревянная ложка с вырезанной на ручке буквой. Чуть дальше на верёвке висели портянки, под ними лежал опрокинутый котелок. У каждого предмета был хозяин, у каждого хозяина — место в утреннем порядке: проснуться, умыться, получить завтрак, идти к машине. Только я выпал из порядка и потому видел его целиком. Остальные ещё спали внутри него, уверенные, что он продержится хотя бы до обеда.

Я поставил ковш на прежнее место. Рука сама развернула ручку в сторону, чтобы следующему было удобнее подхватить. Мелочь из другой жизни — там экипаж тоже узнавался по тому, кто оставляет рабочее место пригодным для следующего. Машины менялись. Люди, если им предстояло выжить, держались примерно на одном и том же.

Лагерь спал. Палатки тянулись рядами по краю большого ровного поля, и поле в этот час лежало цвета остывшего олова. Пахло росой, бензином и остывшей золой от кухни где-то за спиной. Трава была мокрая по щиколотку; сапоги сразу потемнели от воды, и чужие ступни почувствовали холод сквозь тонкую кожу голенищ. Дальше, у дальней кромки, под серыми чехлами горбились машины — приземистые, короткие, тупоносые, с одним мотором каждая; я насчитал их с десятков, пока глаз привыкал, и у двух или трёх чехлы были сброшены, капоты откинuty, а рядом, на разостланной поверх травы парусине, тускло отсвечивал разложенный по порядку крепёж. Работу начали с вечера и не кончили, оставили на утро. Так оставляют дело люди, у которых завтра будет такое же, как вчера, и послезавтра тоже, и торопиться незачем, и войны они себе на этот рассвет не заказывали.

Я смотрел на это поле глазами, которые тридцать лет читали лётные поля, и читал его помимо воли. Машины стояли кучно, крыло к крылу, ровным рядком у самой опушки — выставленные напоказ, будто на смотре. Беды тут не ждали. Ни капониров, ни земляных обвалований, ни рассредоточения. Половина под чехлами, две-три с раскрытым нутром — этим и до неба-то не дойти, пока не соберут обратно, а собирают такое не за минуту. Всё поле было устроено под мирное утро: доверчиво, открыто, аккуратно. Под мирное утро, которого ему не отвели.

Я стоял, смотрел и складывал новые факты к прежним, и они складывались в картину, в которую не хотелось глядеть в упор.

Ровное поле у самой кромки леса. Десяток машин кучей, часть — разобрана. Гимнастёрка, севшая впору на голодное молодое тело. Книжечка в жёсткой корке у чужого изголовья. Короткая тёплая ночь на исходе.

Я довольно много знал про такие поля и такие рассветы — знал по книгам, по чужим мемуарам, по картам, которые разбирал дома, под лампой, вечерами. Чужая давняя война была моим тихим вечерним занятием, безобидным ровно до тех пор, пока оставалась картами и цифрами. Сейчас она лежала передо мной спящими людьми в двух шагах, и кого-то из них к вечеру недосчитаются, а кого именно — этого не было ни в одной моей книге. Я знал общий ход: чем всё кончится и кто в конце устоит, знал крупно, вехами, датами, именами больших сражений, — а в мелочах, от которых зависит, кто из этих спящих доживёт до вечера, не знал почти ничего. Знание оказалось тяжёлым, неудобным грузом, который некому предъявить и нечем подтвердить. И уже начинало врать, стоило приглядеться к частностям.

И одну мелочь чужое тело знало лучше меня. Оно слышало первым.

С запада, из-за поля, из той стороны, где небо ещё держалось ночным, пришёл звук. Ровный. Слитный. Низкий, на самом пределе слуха. Он не гас. Он рос — медленно, плотно, неотвратимо, как поднимается тёмная вода на пологом берегу, когда ещё можно стоять и смотреть, но уже нельзя не смотреть.

Моторы.

Я тридцать лет узнавал мотор по голосу, как узнают своих по шагам в сеньях, — и это были не один и не два. Их шло много. Их шло очень много, ровным ходом, ровным строем, на восток, — и час стоял неправильный, и сторона неправильная, и высота, судя по звуку, была рабочей, боевой, и весь этот гул складывался правильно лишь для одного.

Кожа на затылке чужого тела стянулась сама, без моей команды. Большой палец сам, без спросу, лёг на мозоль левой ладони и вдавил её — крепко, до тупой боли, будто пытался вжать обратно то, что рука уже поняла, а я всё ещё не давал себе выговорить.

Небо на западе загудело в полную силу. Гул шёл на восток — к спящему полю, к спящему парню за брезентом, ко всем, кто про неё ещё не знал. Час у них был короткий.

Часов у меня не было. Они и не понадобились.

Глава 2

Гул стал самолётами.

То, что минуту назад стояло на пределе слуха ровным, слитным, ватным, теперь распалось на отдельные голоса моторов — их было много, они шли на разной высоте, и передние уже прошли над лесом и разворачивались над полем, чёрные на светлеющем небе, деловитые, спокойные, как люди, вышедшие на привычную работу с зарёй. Никто их не встречал. Небо над «Вересовкой» было пустым, огромным и чужим, и принадлежало оно теперь не нам.

В лагере ещё спали. Я стоял у своей палатки в наскоро натянутых сапогах и чужой гимнастёрке, и в первую секунду молодое тело рванулось было бежать — я уже знал куда. К подвешенному у штаба рельсу. Но кто-то оказался ближе: железо забило тревогу прежде, чем я сделал третий шаг. Я заорал «Воздух!» и на бегу считал. Двухмоторные, тяжёлые, груженные — эти шли первыми, низко и уверенно. За ними, выше и по краям, держались мелкие, быстрые, поджарые, и я узнал их сразу — не по силуэту из книги, а по повадке, по тому, как охотно они клевали носом к земле и как ровно держали строй. Прикрытие. Истребители. Те самые, которых мне полагалось бояться.

Дату я знал. Что делать с оставшимися секундами — нет. Людей ещё можно было поднять с коек; машины, составленные с вечера в аккуратный парадный ряд, уже не растащить. Я кричал, пока в горле не стало сухо, и видел, как передний бомбовоз открывает створки.

У штаба из палатки выскочил дежурный с расстёгнутым ремнём и пистолетом в руке. Пистолет тут был ни к чему, но рука выбрала то, чему её учили. Он завертелся, ища старшего.

— Людей в щели! — крикнул я ему. — От машин!

— Кто приказал?

Я ткнул вверх. Приказ летел к нам сам, уже без посредников.

— В щели! — повторил дежурный другим голосом и наконец побежал вдоль палаток. — От стоянки! Ложись!

Двое техников рванули к раскрытому капоту ближайшей машины. Один уже схватился за край чехла, второй тащил ящик с инструментом — спасали то, за что отвечали вчера. Я пересёк им дорогу, толкнул ящик обратно в траву.

— Поздно. В канаву.

— Там свечи сняты!

— В канаву, сказал!

Тот, что держал чехол, смотрел мимо меня на самолёт. На нём была его ночная работа, его масло под ногтями, его вина за каждую незатянутую гайку. Отступить от машины для него значило бросить живого. Я схватил его за ворот и дёрнул на себя. Он выругался, но побежал. Через несколько секунд на место, где лежал ящик, упала первая бомба.

Крик подхватили у соседних палаток. Голоса срывались — молодые, страшные, ещё не поверившие сами себе. Рельс бил коротко, вразнобой, поздно. Из палаток посыпались люди: полуодетые, босые, с сапогами в руках, они заметались по мокрой от росы траве, налетая друг на друга, потому что никто не знал, куда бежать, а по-настоящему бежать было поздно ещё пять минут назад. А если считать по той карте, что я разбирал дома под лампой, — поздно было давно, за годы до этого утра.

Передний бомбовоз качнулся и лёг в пологое снижение. От брюха его отделилось, посыпалось вниз мелкое, тёмное, почти безобидное на вид, разрастаясь на глазах. Я упал в мокрую траву за долю секунды до того, как земля встала на дыбы и ударила меня снизу в грудь, в ладони, в скулу.

* * *

Земля била снизу. Небо валилось набок. Всё шло рывками, кусками, без склейки между ними. В провалах вставала ватная глухота, и в ней я слышал только своё дыхание — частое, чужое, молодое.

Я поднял голову. Стоянка горела.

Машины, что с вечера стояли крыло к крылу, ровным парадным рядом, — те самые, доверчивые, аккуратно поставленные под мирное утро, — теперь так же ровно, одна за другой, горели. Огонь шёл вдоль ряда неспешно, по-хозяйски, как ему и оставили. Кто-то бежал к ним с ведром. Ведро было маленькое.

Бомбовозы отработали первый заход и потянулись на второй. А сверху, с нарастающим воем, посыпались истребители.

Они били по земле. Заходили низко, вдоль стоянок, вдоль палаток, вдоль бегущих, и от каждого по траве стлались две дорожки — быстрые, ровные, вспарывающие дерн. Одна прошла в трёх шагах, взрыла землю, швырнула в лицо мокрым чернозёмом. Человек с ведром сел на траву и не встал. Ведро покатилося само, звонко, до самой воронки.

Заход. Ещё заход. Я потерял им счёт. Небо было их, и они не торопились. Работали поле спокойно, по неподвижной цели. Кто-то из наших добежал до зенитного пулемёта на краю стоянки. Бил короткими злыми очередями в белый свет. Его накрыли следующим заходом. Пулемёт замолчал.

Пахло горелой краской, горелой резиной и ещё чем-то сладковатым и тяжёлым, от чего сводило горло, — тем, чем тянет, когда горит не только машина. Дым стлался низко, по траве, и в нём, спотыкаясь и кашляя, метались тёмные согнутые фигуры. Я вжимался лицом в мокрую землю, вдыхал её холод пополам с гарью и ждал, когда это кончится, — как ждёт всякий, кому нечем ответить. А ответить было нечем. Своё небо лежало на земле и догорало ровным рядом, как его и поставили.

Рядом со мной в канаву свалился мальчишка в замасленной робе — оружейник, лет семнадцати, с круглым белым лицом и чёрными от работы руками. Он вжимался в землю и мелко, часто крестился, и губы его двигались беззвучно. Я придавил его за плечо к земле. Чтob не вскочил: вскакивают и бегут как раз под очередь. Он глянул на меня дикими глазами и затих.

— Там ленты, — выговорил он, когда шум первого захода отвалил к лесу. — В ящике. Я не унёс.

— Живой?

— Чего?

— Руки, ноги целы?

Он ощупал себя, будто вопрос требовал проверки. На рукаве темнела кровь, но ткань была рассечена осколком поверх кожи, неглубоко.

— Целы.

— Вот и неси их отсюда. Ленты потом.

— С меня спросят.

— Если встанешь — не с кого будет спрашивать.

Он посмотрел туда, где среди огня рвались патроны. В каждом разрыве погибала его работа, и это было ему понятнее собственной смерти. Я знал такой взгляд: человек ещё не испугался за себя, потому что не успел отделить себя от дела.

Над лесом разворачивалась следующая пара. Я втянул его ниже в канаву и накрыл голову его же руками.

— Когда пройдут, ползёшь к кухне. Там низина. По открытому не беги.

— А вы?

— А я следом.

Я соврал. Уже видел дежурную машину у дальнего края и человека, который пытался до неё добраться.

Вторая волна прошла низко, разом. Накрыла поле тенью и рёвом. Я всем чужим нутром ощутил, каково это — быть под работающей авиацией. Внизу. Без единого своего самолёта в небе. Земля вздрагивала, как живая. Где-то рвались собственные, не успевшие взлететь боекомплекты — глухо, изнутри машин, — и от каждого такого разрыва по стоянке катилась новая волна жара. За дальней палаткой двое волокли под руки третьего; он загребал ногами по траве и всё порывался идти сам, и не выходило, и голова его моталась из стороны в сторону. Мальчишка-оружейник рядом дёрнулся встать — к своим, к машинам, к работе, которой его только вчера выучили и которая горела теперь у него на глазах. Я снова придавил его к земле. Рано. Ещё рано. Он не понимал, до чего просто тут погибнуть и до чего нечем помочь. Я понимал. Ещё одно бесполезное знание, доставшееся даром.

— По щелям! По щелям, мать вашу, куда прёшь!

Голос был немолодой, тяжёлый, командный — сорванный не страхом, а криком поверх грохота. Я не видел, кто кричит, но послушался вместе со всеми, вжался, и над спиной высоко, впустую прошла ещё одна очередь.

У дальнего края поля, в стороне от сгоревшего парадного ряда, стояли три машины особняком. Дежурное звено. Две ещё были под чехлами; у крайней чехол уже лежал на траве и мотор колотил на малом газу. Лётчик взялся за борт, подтянулся к кабине. Сверху пришла новая дорожка — и человек мягко, без крика, сложился поперёк борта и стёк в траву.

Машина осталась. Собранная, заправленная, с работающим мотором. Живая машина посреди мёртвого поля.

Я не думал. Думать было некогда. Молодое, лёгкое, дурное тело уже несло меня к ней через дым и жар, а накопленный опыт не поспевал объяснить очевидное: одиночная машина под всем этим небом проживёт недолго.

* * *

Крыло. Подножка. Борт.

Я перевалился в кабину. И ослеп — на миг, от несовпадения.

Всё чужое. Всё не там.

Сектор газа слева. Не под той рукой. Приборы — скупые, круглые, с незнакомыми шкалами. Ручка коротка и зла. Я знал эту машину. По чертежам. Руки — не знали.

Мотор бил ровно. Мёртвый лётчик успел запустить его и добраться до кабины — взлететь не успел.

Газ. Хвост повело. Машина рванула боком, поперёк, норовя закрутиться на месте. Я ловил её ногами. Грубо. С перебором. Она мстила за каждое лишнее движение. Вихляла. Козлила на кочках.

Не машина. Норов.

Она не хотела в небо. Я заставил.

Полный газ. Хвост вверх. Кочки били в шасси, в спину, в зубы. Колёса ещё держали землю. Держали. Держали.

Отпустили.

Взлёта я не помню. Помню: земля отпустила нехотя. Помню: сразу за отрывом клюнула, повалилась на крыло. Я вернул её. Не умом. Древней памятью тела, что старше всех книг. Не тyani. Отдай. Дай скорость.

Шасси. Рука пошла к рычагу. Рычага нет. Есть рукоятка. Крутить. Руками. Долго.

Я крутил и косился назад. От верчения головой мир качался.

Худой пришёл сверху.

Тонкая косая тень из светлого неба.

Я увидел его за миг до удара. Бросил машину вбок. Инстинктом. Без мысли. Трассы прошли там, где я был. Худой проскочил — серое брюхо, кресты — и ушёл вверх свечой. Мне за ним было не угнаться.

Дурак, я развернул за ним.

Мой ишак не полез в его вертикаль. Задохнулся. Повис на винте. Посыпался.

А тело предало.

На перегрузке, на развороте — свет померк. Не весь. С краёв. Серая пелена натекла от висков к середине. Звук ушёл в вату. Руки стали дальние, чужие, тяжёлые.

Я отдал ручку. Само. Раньше головы.

Пелена откатилась.

Вдох. Ещё. Небо — на месте. Земля — на месте. Я — ещё тут.

Сердце било в горло. Ручка ходила в мокрой ладони. Ремни резали плечи. Тело просило вниз, к покою. Вниз было нельзя. Внизу горело.

Он заходил снова.

И снова я не полез вверх. Свалил машину в вираж. Крутой. Злой. На пределе, на дрожи, на срыве. Одно мой ишак умел лучше худого. Вертеться.

Худой не удержал меня в прицеле. Проскочил. Зашёл ещё. Опять проскочил. Я поймал его на миг — палец сам вдавил гашетку. Машину затрясло. Трассы ушли в пустоту. Мимо. Далеко мимо. Стрелять я не умел. Тело — не умело. Ему надоело. Одному против них — грош цена, когда внизу столько несделанной работы.

Внизу из дыма выскочила санитарная машина. Шла поперёк поля, медленно, подпрыгивая на воронках; на подножке висел человек с белой повязкой на рукаве, одной рукой держался, второй прижимал к борту носилки. Немец увидел её раньше меня. Отвернул от моего виража, опустил нос.

Я оказался выше на каких-нибудь десятков метров и чуть сзади. Удобной стрельбы не было. Было только направление. Я опрокинул «ишака» вслед и нажал гашетку задолго до прицела. Трассы опять прошли мимо — под брюхом немца, ниже, — зато он увидел их. Его машина дёрнулась, очередь по земле оборвалась, не дойдя до санитарной. Худой перевёл скорость в горку и ушёл туда, где я достать его не мог.

Санитарная не остановилась. Проползла между воронок, скрылась за кухней. Человек на подножке даже не посмотрел вверх. Он мог не знать, что по нему заходили. Я мог не считать, что спас его: немец, может, и сам отвернул бы через секунду. Для счёта побед не годилось. Для земли внизу хватило.

И он ушёл на запад.

Я остался в небе. Один. Живой.

Я не сбил никого.

* * *

Садился я долго.

Поле подо мной было изрыто, разворочено, затянуто дымом; всюду торчало разбросанное, вывернутое железо, и я заходил трижды, снова и снова уводя машину на второй круг, потому что выбирал узкую живую полосу между тем, что уже горело, и тем, что ещё могло рвануть. Руки на ручке дрожали — теперь, после, когда наконец стало можно дрожать. Шасси я опять выкручивал рукоятью, по многу оборотов, и машина опять рыскала на пробеге, но земля приняла её мягко, почти по-матерински, и я долго-долго катился по кочкам, пока не встал совсем, и ещё дольше сидел в остывающей кабине, не в силах разжать пальцы на ручке и не понимая, как это — что я ещё дышу.

Тишина после смолкшего мотора была оглушительной, плотной, ватной; в ней постепенно, по одному, проступали звуки уже другого мира — потрескивание догорающего дерева, чей-то долгий стон у стоянки, звонкий стук капель масла о крыло откуда-то из-под капота.

Я выбрался на крыло и сполз на землю на чужих, ватных, не держащих ногах. Поле было не узнать. Там, где с вечера стоял ровный, ухоженный ряд, теперь дотлевали чёрные остовы: крылья повело жаром, обшивка сошла лохмотьями, и над всем ещё дрожал и плыл горячий воз-

дух. Считать было нечего — живого на стоянке осталось меньше, чем сгорело. Между воронками медленно, пригибаясь, ходили люди, уносили своих, и кто-то один, невидимый, всё стоял в дыму — ровно, без надежды, что придут.

У канавы сидел тот самый оружейник. До кухни он добрался, потом вернулся. На расщеплённый рукав кто-то намотал грязный бинт. Теперь мальчишка держал на коленях пулемётную ленту, вытянутую из разбитого ящика, и перебирал патроны по одному. Целые складывал справа, смятые и закопчённые — слева.

— Говорил же: потом, — сказал я.

Он не сразу узнал меня без дыма между нами.

— Вот потом и есть.

— Рука?

— Царапнуло.

Он поднял ленту. Между звеньями застряли травинки и комья земли.

— Эти можно протереть. А эти нельзя. Капсюль повело.

Я сел перед ним на корточки. Колени сразу задрожали, пришлось опереться ладонью о землю. Мальчишка заметил, но сделал вид, что рассматривает патрон.

— Человека с ведром знаешь? — спросил я.

Пальцы его остановились.

— Дядька Сева. По горячему.

Имя появилось и тут же стало лишним для всех ведомостей, кроме одной человеческой памяти. Я взял из левой кучки почерневший патрон и положил обратно. Мальчишка снова принялся перебирать ленту. Один целый. Один мятый. Работа у него ещё была, значит, можно было пока не смотреть на место, где лежал дядька Сева.

Я стоял возле остывающей, потрескивающей машины — целый среди нецелого, чужой на этом чужом поле, — и в теле не было ничего, кроме огромной, ровной, тянущей книзу усталости.

Кто-то шёл ко мне через всё поле. Не спеша. Тяжело, вразвалку, как ходят люди, которым за это утро уже нечего бояться, потому что худшее они успели повидать и пережить и теперь несут его в себе, как несут тяжесть. Плотный, широкий, с тёмным обветренным лицом, в наброшенной на плечи, незастёгнутой гимнастёрке. Он подошёл к машине, положил тяжёлую руку на борт, у самой пробоины, которой я не заметил в бою, и посмотрел на меня снизу вверх — долгим, изучающим, невесёлым взглядом человека, который с рассвета считает свои машины и своих людей и уже твёрдо знает, скольких недосчитался.

За голенищем у него была свёрнутая карта. Он вытянул её, развернул прямо на плоскости крыла, придавил ладонью от ветра и коротко, костяшкой согнутого пальца, стукнул по ней — раз, другой, — будто ставил точку в разговоре, которого мы с ним ещё не начинали.

— Чья машина? — спросил он.

— Дежурного звена. — Голос вышел чужой, севший, ломкий. — Пилота убило у борта. Я поднялся.

Он не ответил сразу. Смотрел то на меня, то на машину — на рваную пробоину в плоскости, на потёки масла по борту, на смятую в бою кромку крыла. И молчал.

Он не спешил. Достал кисет, свернул самокрутку одними пальцами, не глядя на них, прикурил от спички, которую заслонил в горстях от ветра, и первую затяжку взял долгую, до самого нутра. Только потом заговорил снова.

— Поднялся, — повторил он негромко. Не спросил — взвесил слово, будто пробуя его на зуб. — В это. На этой. И сел целым. — Он помолчал. — Первый бой?

— Первый, — сказал я. Это была правда чужого тела, и её выговорить было можно.

Он коротко кивнул, отмечая, и снова прошёлся взглядом по машине — по пробоине, по маслу, по смятой кромке крыла. — Оно и видно, — сказал он. — И не видно.

А больше сказать было нечего. За спиной стояли тысячи часов на машинах, которых здесь ещё не придумали; в лётной книжке Соколова сегодняшний бой оказался первым. Обе правды для ответа не годились. Я промолчал.

Он свернул карту, неторопливо, по прежним сгибам, и сунул обратно за голенище. И, уже отворачиваясь, чтобы идти к своему горькому счёту дальше, бросил через плечо — не мне даже, а куда-то в дымное, разрытое поле, самому себе:

— Где так летать выучился?

Ответа у меня не было.

Глава 3

К полудню поле уже не горело — оно дымило. Огонь сделал своё дело за утро и ушёл, оставив после себя на месте вчерашнего парадного ряда обугленные остовы: они осели на пробитых, подломленных стойках, крылья повело жаром книзу, как опускают плечи под непосильным, и над каждым ещё стоял, подрагивая, столбик горячего воздуха и жидкого дыма, тянувшийся в неподвижное белёсое небо. Пахло горелой краской, жжёной резиной и той сладковатой тяжёлой гарью, которую я успел узнать за одно утро и хотел бы не знать никогда. Между остовами ходили люди — тихо, буднично, без вчерашнего крика, — собирали, оттаскивали, укладывали, и в этой их будничности было куда страшнее, чем в самом налёте: так не ходят по бою, так ходят вокруг покойника, когда уже откричались и остаётся прибрать.

Моя машина стояла особняком, с краю, там, где я её утром бросил и где до неё пока не дошли руки. Вблизи она выглядела хуже, чем сгоряча после посадки. Пробоины в борту — в пору кулак просунуть. Левая плоскость расщеплена, дюраль торчит наружу седыми лохмотьями. А под бронеспинкой, в ладони от того места, где была спина, косо засел и застрял кусок чужого металла — вошёл и не дошёл. Побитая, простреленная, но привезённая домой машина, которую теперь надо было либо чинить неделю, либо списывать в тот же скорбный счёт, что и остальные. Я стоял возле неё и не знал, что мне теперь делать — ни с ней, ни с собой, ни с этим чужим полем, на котором я нынче проснулся.

Утренний бой оставил мне две вещи: побитую машину и знание, которое никому не предъявишь. Ремесло довело первую домой. Второе пока заставляло стоять над ней столбом. Но уйти уже не давало.

— Твоя? — спросили сзади, негромко.

Я обернулся. Позади стоял немолодой человек в замасленном комбинезоне — коренастый, кряжистый, устойчивый, как приземистый станок на давно обжитом месте. Крупные тяжёлые кисти, узловатые пальцы мастерового, в неотмываемых чёрных ободках у ногтей. Лицо в глубоких, ранних морщинах, с вьёвшейся под кожу металлической пылью, синеватой на скулах. На носу — круглые очки в тонкой проволочной оправе, чуть сползшие к кончику. В одной руке он держал ветошь и медленно, обстоятельно тёр ею пальцы — хотя пальцы, я успел разглядеть, были у него чистые, отмытые дочиста, наверное, ещё с утра. Он тёр чистое. Так трут, когда думают о чём-то тяжёлом, а рукам, привыкшим к делу, надо дать хоть какое занятие.

— Дежурного звена, — сказал я. — Я на ней сегодня утром садился.

— Знаю, что садился. Видел. — Он обошёл машину неторопливым кругом, приседая у каждой пробоины, трогая рваный край дюралья обломанным ногтем, заглядывая в чёрное нутро мотора, ощупывая смятую кромку так бережно, будто она могла отозваться болью. Он читал машину, как читают знакомый почерк, — и то, что он в ней вычитывал, ему явно не нравилось и одновременно чем-то удивляло. — Старшина Лунин. Я тут за всё это железо в ответе. За то, что от него к вечеру останется. — Он выпрямился, поглядел на меня поверх очков долгим, ровным взглядом. — Кромку вон смял. На посадке?

Я подтвердил. Лунин сунул ветошь за пояс, обеими руками взялся за край пробоины и осторожно качнул лист. Металл скрипнул.

— Эту зашьём. Тут нервюру повело — хуже. Бак не течёт, тяги целы. Мотор пока молчит, а молчаливый мотор иной раз опаснее того, что стучит. Тот хоть предупреждает.

— Поднимете?

— Не сегодня.

— А завтра?

— Если ночью не прилетят. Если найдётся лист. Если мотор не наелся стружки. Если люди к вечеру останутся. — Он по очереди загибал чистые пальцы и на последнем задержался. — У меня теперь вся ведомость из этих «если».

За соседним остовом двое механиков вытягивали из пепла уцелевший баллон. Лунин заметил, что один взялся голой рукой за нагретый металл, и окликнул его по должности, не по имени. Тот отдернул ладонь. Старшина не повысил голоса, только показал ветошью, куда отнести находку. Люди вокруг него двигались без суеты, хотя половина прежней работы сгорела, а другая требовала себя сразу. Он держал поле не приказом — порядком рук.

— Шасси не заело? — спросил он.

— Туго шло.

— Оно всегда туго идёт. Тут вопрос, насколько. Сколько раз перехватывал рукоятку?

Я попытался восстановить движение. В бою счёт не шёл словами: ладонь, оборот, перехват, снова. Ответил приблизительно.

Лунин посмотрел на меня поверх очков.

— Приблизительно он, — сказал он машине. — В первый бой. Под очередями. А рукоятку помнит.

Это не было похвалой. Ещё одна деталь легла в его внутренний ящик.

— На посадке.

— На такой посадке машины кладут насмерть, а лётчиков выносят. Не кромку мнут. — Сказал он это без тени похвалы, ровно, как отмечают вслух показание прибора, которому пока не решили, верить или нет. — Дыр в ней — как в сите. А ты её домой довёл, шасси выпустил и на три точки поставил. — Он помолчал, снова прошёлся ветошью по чистым костяшкам. — Давно летаешь?

— Мало летаю, — сказал я наконец. Это было правдой их обоих — и мальчишки, и меня.

Лунин ничего не ответил. Только глянул ещё раз, коротко, снизу вверх, — и отвёл глаза обратно к машине. Но я уже знал, что этот взгляд он себе отложил. Такие люди складывают увиденное в память, как складывают инструмент в ящик после смены, — по местам, насухо, чтобы потом, когда понадобится, достать нужное не глядя.

* * *

Уцелевших машин на весь полк осталось семь.

Их к полудню стащили с погоревшей стоянки к единственным уцелевшим бочкам и инструменту. Там и поставили — снова ровно, снова крыло к крылу. Не от одной глупости: мотористы должны были дотянуться до каждой машины, а таскать бочки по полю было нечем. Но семь машин снова стояли одним коротким рядом, и внутри у меня всё холодело: беда привела нас к той же мишени, только теперь у неё было объяснение.

Я знал, что будет дальше. Не гадал — знал. Не поимённо и не по часам — но в главном наверняка: они вернутся. Сегодня же, до вечера. В первый день они всегда возвращались — добить уцелевшее, пока аэродром оглушён, ослеп и не опомнился. Это было во всех книгах, которые я когда-то читал по вечерам под лампой, как читают про чужую, давно отгоревшую беду. А теперь чужая давняя беда собиралась случиться наяву, в ста шагах, с этими семью машинами и с людьми, которые их так заботливо выровняли.

Можно было сказать себе, что здесь меня никто не спросит. Но смолчать значило дать сгореть ещё семерым.

Лунин был неподалёку — присел на корточки у ближней машины, копался в простреленном, разбитом капоте. Я подошёл, задрал голову к пустому дневному небу над лесом, откуда всё должно было прийти, и сказал — тихо, только ему:

— Их надо растащить. Сейчас. По одной, под деревья, на опушку. И накрыть — лапником, сетью, чем есть. И от палаток убрать подальше.

Он не поднял головы. Только руки его в развороченном капоте на секунду замерли.

— С чего вдруг?

— Да по уму, они вернутся добить. — Я говорил медленно, подбирая каждое слово, гася в голосе всё, что знал наверняка, оставляя наружу одну голую догадку, за которую меня нельзя ухватить. — Я бы на их месте вернулся. С утра оглушили, к обеду мы тут стоим, зализываемся — самое время наведаться вдругорядь. И застать нас опять рядком, тёпленькими.

Вот теперь он поднял голову. Медленно, тяжело. Посмотрел на меня — долго, куда дольше, чем смотрят на догадку желторотого лейтенанта, у которого за душой один утренний бой.

— «По уму», — повторил он негромко. Не спросил — попробовал слово на прочность, как пробуют затянутый узел, потянув. — А по уму, товарищ младший лейтенант, машины ставят там, где велено. Не там, где кому-то чего-то предчувствуется.

— Значит, велено неправильно, — сказал я — и сам не ожидал, до чего ровно, до чего уверенно это у меня вышло.

Он всё смотрел, и я почти видел, как за этим спокойным лицом идёт медленный, обстоятельный счёт — только не машинам, а мне. Кто таков. Откуда у мальчишки первого года взялась в голосе эта нездешняя, стариковская твёрдость. Почему он говорит про сегодняшнюю бомбу не как о возможности, а как о воспоминании.

— Предчувствие, — сказал он наконец. Ещё тише. И в этом «предчувствии» я услышал не вопрос — подсказку: слово, за которым мне удобнее спрятаться, если спросит кто повыше. — Так и доложим, коли спросят. Предчувствие у лейтенанта. Бывает.

И, кряхтя, поднялся и пошёл к командиру — вразвалку, тяжело, не оглядываясь.

Растаскивали долго и тяжело, руками и на руках: тягачей не было, а на ходу из семи было три. Остальные выпихивали, выкатывали, разворачивали под деревья на опушке ватагой в десяток человек, налегая у корня плоскостей и на стойки, матерясь вполголоса, — многим это казалось барской блажью в такой день, когда рук не хватало и на живых, и на мёртвых. Я толкал вместе со всеми, обдирая чужие молодые ладони о железо, и не чувствовал их, потому что чувствовал одно: что времени у нас куда меньше, чем думают все вокруг, — и знаю про это я один.

Первая машина увязла левым колесом в мягкой земле у самой опушки. Десять человек навалились разом, каждый туда, куда успел ухватиться, и самолёт только глубже продавил колею. Кто-то предложил завести мотор и выскочить газом. Лунин отрезал: под деревьями винтом соберём землю и ветки, потом будем чинить уже не колесо.

— Все от плоскостей, — сказал я. — Двое за стойку. Остальные сзади, за узлы, не за обшивку. И не рвём. Раскачали — на третий раз вместе.

— Командир нашёлся, — буркнул моторист с перевязанной щекой.

— Нашёлся. Берись ниже.

Он смерил меня взглядом, но переставил руки. Мы качнули машину назад, вперёд, снова назад. На третий раз колесо вышло из ямы с влажным чмоканьем. Никто не сказал, что я оказался прав; просто покатали дальше. Здесь признание измерялось тем, переставил человек руки или продолжил спорить.

Под соснами пришлось выбирать места. Слишком близко к стволам — не развернёшь машину на выкат; слишком открыто — сверху прочтут форму крыла. Техники рубили лапник, другие натягивали то, что нашли из сетей и брезента. Я прошёл вдоль опушки, заставляя себя смотреть глазами того, кто придёт сверху: блеск фонаря, правильная дуга плоскости, свежая колея, тень, не похожая на дерево. У третьей машины фонарь светился между ветками, как стекло на пустой дороге. Я велел накинуть выше редкую сеть и вплести в неё срезанные ветви, не закрывая кабину намертво.

Оружейник с перевязанной рукой — тот самый, из утренней канавы, — молча подал мне связку лапника. Узнал, но разговор про дядьку Севу оставил при себе. Он работал одной здоровой рукой и зубами затягивал бечёвку. Я забрал конец, затянул за него.

— Ленты перебрал?

— Что цело — перебрал.

— Теперь себя побереги.

— Это после, — сказал он моими же словами и полез под плоскость крепить ветки.

У войны быстро появлялись свои шутки. Смеяться над ними никто не собирался.

Подошёл лейтенант из штаба полка — молодой, взвинченный, с бумагами под мышкой. Остановился, поглядел, как мы вручную разводим исправные машины прочь от стоянки.

— Это по чьему распоряжению? Кто велел рассредоточить?

Лунин разогнулся не спеша, вытер ветошью руки, поглядел на него поверх очков.

— По моему разумению, товарищ лейтенант. Стоянка простреляна, машины на виду. Уберём под лес — целее будут.

— «По разумению». — Лейтенант обвёл глазами укрытые под соснами машины, потом меня, потом опять Лунина. — Случись что не по разумению — с тебя, старшина, и спросится.

— С меня и спросится, — согласился Лунин ровно. — Не впервой.

Лейтенант пожевал губами, но связываться со старшиной, за которым стояло четверть века у машин, не захотел — махнул рукой и ушёл к штабной палатке. А Лунин посмотрел ему вслед, потом коротко — на меня, и я понял, что он подобрал под себя не только эти семь машин. Случись что — теперь спросят с него.

В короткой передышке, отдуваясь, я полез в планшет за картой, а нащупал письмо. Тетрадный лист, сложенный вчетверо, мягкий на сгибах, много раз читанный и убранный обратно. «Здравствуй, дорогой сынок Андрюша». Крупный, старательный почерк, буквы с сильным нажимом — так выводят те, кому письмо даётся редким и трудным трудом. Мария Фёдоровна писала про корову, про хорошие травы, про сестрёнку, которая выучилась читать по складам и уже разбирает вывеску. И чтоб он ел, Андрюша, ел как следует, не глядел, что дают мало, а просил добавки: на службе стесняться нечего.

Между строками о траве и корове не было войны. Письмо шло сюда до неё и требовало простого ответа: здоров, служу, кормят. Теперь любой такой ответ сперва должен был пережить сегодняшний вечер.

Я сложил лист по мягким сгибам и убрал обратно к сердцу. До письма надо было дожить. Потом подобрать слова.

На сгибе осталась бурая полоса от моего грязного пальца. Я стёр её рукавом — только размазал.

* * *

Тревогу подали в третьем часу.

Голосом её подавать не пришлось. Все и так слушали небо — весь день, вполуха, поверх работы. И когда с запада опять натёк тот же ровный слитный гул, поле поняло раньше, чем ударили в рельс. Люди брызнули в щели, в канавы, под что попало.

Я упал за бугор у опушки, у самых растащенных, укрытых лапником машин. Лунин рухнул рядом — тяжело, но по-звериному ловко для своих лет. Снял очки. Сунул в карман. Вжался.

Они пришли те же.

Худые впереди — расчистили небо. Двухмоторные следом легли на боевой. И стали работать поле.

Пустое поле.

Там, где утром стоял ровный рядок и где к обеду встал бы снова, будь моя воля не моей, — не было ничего. Обгорелые утренние остоны. Воронки. Брошенное железо. Они били по этому. По мёртвому. По уже сожжённому. Бомбы рвали землю там, где рвать было давно нечего.

Одна серия прошла по опушке. Срезала верхушки сосен. Осыпала нас хвоей, корой, щепой. Земля скакнула под животом.

Я вжался. Ждал следующей. Следующая легла дальше. Ещё дальше. Они растягивали удар по мёртвому полю, искали, за что зацепиться, и не находили. Здесь для них работы больше не было.

Один истребитель отделился от круга и пошёл вдоль леса. Не стрелял. Искал глазами. С высоты опушка, наверное, казалась ровной зелёной полосой, но вблизи наши укрытия были грубой работой усталых людей: свежие срезы белели, ветви лежали не той стороной, колея обрывалась у первого ствола. Я увидел всё это сразу, потому что теперь смотрел не на самолёт, а его взглядом.

Худой прошёл над нами так низко, что между ударами мотора слышался посвист воздуха. Тень скользнула по веткам. Укрытый рядом И-16 стоял в двух шагах; на его плоскости дрожал лапник, привязанный оружейником. Если ветка съедет, блеснёт фонарь.

Оружейник лежал по другую сторону колеса. Увидел то же. Протянул перевязанную руку и удержал ветку за комель. Лицо его побелело, но пальцы не отпустили. Истребитель дошёл до конца опушки, качнул крылом и отвернул к полю. То ли не заметил, то ли решил, что заметить нечего.

Только когда гул отодвинулся, мальчишка разжал пальцы. На бинте проступила свежая кровь. Он посмотрел на неё с досадой человека, испортившего работу, и прижал руку к груди.

— После, — одними губами напомнил я.

Он показал зубы. Не улыбнулся — просто дал понять, что услышал.

Но машины стояли.

Растащенные по одной, разведённые под деревья, укрытые лапником — они стояли. Их не нашли. Их негде было найти рядком — рядка больше не было. Мы растащили его руками.

Я лежал, вжав лицо в землю и хвою, и считал заходы. Считал и тогда, когда считать стало нечего, — когда они уже молотили по мёртвому, по утреннему пеплу. Пальцы сами вцепились в корни под хвоей и не разжимались, хотя разжаться было можно: по нам больше не били.

Они отработали пустоту и ушли на запад. Так же ровно, как пришли.

Тишина натекла обратно — с шорохом осыпающейся хвои, с чьим-то кашлем, с далёким, уже привычным за сутки стоном. Я поднял голову. Под соснами, в пятнах света и тени, стояли машины. Целые. Семь.

Лунин сидел рядом на корточках и смотрел на меня.

Он вынул очки, надел. Вытер ветошью руки — в земле, в хвойной трухе, — и не сводил с меня глаз. Потом перевёл взгляд на целые машины.

Он решил.

— Предчувствие, — сказал он наконец. Ровно, тихо, не спрашивая, кладя это слово между нами. — Хорошее у тебя предчувствие, товарищ младший лейтенант. Ты его береги. И помалкивай про него — не всякий тут поймёт, как я.

И полез обратно в развороченный капот — чинить то, что сегодня уцелело.

Глава 4

Ночью я не спал — чертил в голове. С карандашом и бумагой я разложил бы всё по полочкам — стрелки, углы, секторы обстрела. Бумаги было жалко, карандаш стёрся до огрызка, а чертить приходилось на изнанке век, лёжа на спине в темноте и слушая, как рядом ворочаются и стонут во сне уставшие люди. Я чертил тройку — и видел, как она гибнет. Чертил пару — и видел, как она живёт. Оставалось малое: убедить в этом человека, который имел полное право меня не слушать. Уцелевшие семь машин к утру двадцать третьего свели в сводную эскадрилью, добавив к ним то, что перегнали с соседней, тоже погоревшей площадки. Летать было на чём и было кому — не хватало одного: чтобы эти немногие возвращались. А возвращались не все. Их били в первом же заходе, поодиночке, и причина была мне известна — и наперёд, из книг, и по делу, за эти двое суток, — и оба знания впервые сходились в одно, которое можно было сказать вслух, не пряча источник. Дело было в тройке. Наши ходили звеном по трое — клином, как гуси: ведущий и два по бокам. Так было в наставлении, так учили в школе, так летали отцы. В быстром бою клин рассыпался на первой же атаке; крайний отрывался, за его хвостом не успевали следить, и «фридрих», зайдя сверху, снимал его первым. А пара — это двое. Ведущий бьёт, ведомый смотрит назад. Двое, у которых на четыре глаза всё небо: мёртвую зону каждого держит под присмотром товарищ. Знал я это не из наставления — из того, что впишут в наставление ещё не скоро, год, если не два, и большой кровью. Гришина я поймал у КП на рассвете. Он пил из мятой кружки что-то, что называлось чаем, и по красным векам видно было, что он тоже не спал. — Товарищ капитан. Дайте попробовать ходить парой. Двое: я веду, ведомый прикрывает хвост. Не тройкой. Он не поперхнулся, не рявкнул. Поставил кружку. Посмотрел на меня долгим утренним взглядом, в котором усталость мешалась с чем-то ещё. — Наставление знаешь? — Знаю. В наставлении — звено. — В наставлении звено, — повторил он. — А ты мне — пару. С чего вдруг лейтенант первого года лучше наставления знает, как летать? Вот оно. Не «почему пара лучше» — на это я бы ответил с ходу, у меня были доводы. Он спросил не про пару. Он спросил про меня. — Не лучше наставления, — сказал я, глядя мимо, на выкатываемые из-под сосен машины. — Лучше для этого боя. Тройка держит строй. А строй нам держать не с кем и незачем — нас мало, и мы обороняемся. Двое прикрывают друг другу спину. Трое — не прикрывают никому: ведущему некогда, крайнему некому. Поглядите, товарищ капитан, кого мы теряем. Мы теряем крайних. Гришин молчал. Он был кадровый, он был из тех, кто наставление уважает не за букву, а за то, что оно писано кровью. Но он был и не дурак — у него на глазах гибли те же крайние. — Кого мы теряем, я и без тебя знаю, — сказал он наконец, тяжело. Стукнул костяшкой согнутого пальца по планшету с картой — раз, другой, как ставят точку. — Пары я тебе не разрешу. Это против наставления, и если что — под меня же и подведёшь. Но в бою — Он помедлил. — В бою каждый смотрит за себя и за товарища как умеет. Понял меня? Я понял. Он не разрешил. Он развязал руки, не сказав «да». Не стал спрашивать, откуда я такой, — тихо дал сделать по-своему. Это пугало сильнее, чем если бы меня погнали. Меня не гнали. Меня принимали — с оговоркой, что спросят потом. Ведомого мне дали тут же. Он подошёл сам — тонкий, вихрастый, лет двадцати, с облупленным на солнце носом, и, не дойдя пары шагов, засвистел что-то бодрое и бессмысленное, себе под нос, а увидев, что я смотрю, оборвал и представился: — Младший лейтенант Хромов. Пётр. — И, помолчав, добавил, будто извиняясь: — Свищу, когда думаю. Не обращайтесь внимания, товарищ младший лейтенант. — Соколов. Пойдёшь у меня ведомым. Держись за хвост и смотри назад. Не на меня — назад. Твоё дело — не дать зайти мне в спину. Моё — не дать тебе. Понял? Он кивнул, серьёзно, как кивают, когда ещё не понимают, во что подписались. Я смотрел на его облупленный нос и думал не о паре и не о тройке: теперь за моей спиной был живой Петя Хромов, двадцати лет, свистящий, когда думает. И отвечать за него

предстояло мне.— Повтори, — сказал я.— Держусь за хвост. Смотрю назад.— Чей хвост? Он замялся.— Ваш.— Неправильно. Свой сектор. Если будешь смотреть на меня, немца увидишь вместе с трассами. Дистанцию держи такую, чтобы успеть повернуть, но не потерять. Я пошёл за целью — ты не идёшь в прицел вместе со мной. Ты смотришь, кто идёт за мной. Хромов перестал свистеть. Нашёл у ног три щепки, положил две рядом, третью сверху и сбоку.— Немец отсюда. Вы за ним. Я остаюсь шире и кричу.— А если я не услышу?— Дам очередь мимо вас. Увидите.— Мимо меня не давай. Крикни второй раз. Он улыбнулся впервые — быстро, одним углом рта. Потом снова посмотрел на щепки и переложил свою чуть дальше. Учился он не спором, а руками. Это мне подходило.* * *Подняли нас в полдень — прикрыть переправу, через которую на восток тянулись отходящие. Ракета взвилась над КП — зелёная, шипящая, торопливая. Побежали. Я — к своей машине, Хромов — к своей, рядом, всё ещё насвистывая что-то на бегу. Механик уже провернул винт; мотор схватил, выплюнул сизый дым. Я перевалялся в кабину, затянул ремни, дал газ. Хвост повело. Восьмёрка пошла по полю вразнобой, торопливо, поднимая пыль, — так теперь делалось всё: без строя, без спокойствия, впопыхах, потому что война не ждала, пока мы построимся красиво. Оторвались. Убрали шасси. Собрались в воздухе на ходу: два звена сомкнулись клином, а мы с Хромовым пристроились с краю, парой. Никто нам этого не приказывал. Никто и не запретил. Взлетели восьмёркой. Внизу проплыла разбитая дорога, забитая повозками, машинами, людьми; переправа — узкий деревянный горб через речку, и на нём, и перед ним — сплошная неподвижная масса, лучшая на свете мишень. Мы легли в круг над переправой — так, чтобы видеть всё и успеть ко всему. Внизу ползли на восток: повозки, серые согнутые спины, коровы, детские головы в кузовах, брошенный на обочине скарб. Ползли медленно, безнадежно медленно — мост был один и узкий, а желающих на него тысячи. Кто-то снизу махал нам рукой; не понять было — звал или гнал. Мы кружили и ждали. Ждать пришлось недолго. Их я увидел раньше, чем ведущий подал команду. Точки с юго-запада, выше нас, идущие со стороны солнца — оттуда, откуда и положено заходить тому, кто умеет. «Фридрихи». Четыре. Они не спешили. Они никогда не спешили — за ними была высота, скорость и право первого удара, и они это знали.— Хромов. Держись. Идут сверху. Как скажу — расходимся: я вниз-влево, ты за мной, но шире. Не отрывайся и не жмись. Понял?— Понял, — пришло в наушниках, тонко, сквозь треск. И, кажется, он опять свистнул. Первый «фридрих» упал на звено. Клин рассыпался — ровно так, как должен был, как я и боялся, что рассыплется. Ведущий рванул вверх, боковые — врозь, и крайний, третий, остался один в пустом небе, и немец взял его сразу, первой же очередью, спокойно и насмерть. Машина вспыхнула, свалилась на крыло и пошла вниз, разматывая чёрную нитку. Тройка отдала своего крайнего. Опять.— Вниз-влево! Пошли! Я свалил машину в вираж. Хромов — за мной, шире, как сказано. И тут же, сверху, косо, пришёл второй — на меня. Я его прозевал. Хромов — нет.— Сзади сверху! Уходи! Я бросил машину вправо, вслепую, на одном чужом крике. Мимо — немец проскочил, не достав. А Хромов, вместо того чтобы отвалить, повернул и дал ему вслед короткую, злую очередь — не попал, но заставил отвернуть. Вот что дала пара. В тройке сейчас я был бы тем крайним, тем третьим, один в пустом небе, и меня бы уже сняли. А у меня за спиной был Хромов, и его крик, и его очередь, и я был жив. Мы завертели вдвоём. Хромов держался за мой хвост, я краем глаза — за его; он кричал, я бросал машину, я кричал — он бросал. Дважды я вывел его из-под очереди. Дважды он вывел меня. Сбить мы никого не сбили — куда нам, на тупоносых, против их скорости и высоты, — но лёгкой добычи, какой они нас уже числили, мы им не отдали. И это была своя, маленькая, злая победа. На третьем заходе Хромов ошибся. Немец показал ему брюхо, будто промахнулся и провалился ниже, — приманил. Петя потянулся следом. Дистанция между нами сразу выросла; его машина полезла в мой сектор, а хвост остался пустым.— Не клуй! Ко мне! Он не услышал или не поверил. Дал очередь по уходящему и выдал себя вспышками. Второй «фридрих» уже падал ему на спину из солнца. Теперь кричал я. Хромов бросил машину только со второго оклика, поздно. Я повернул

навстречу немцу, хотя прицела не было, и дал короткую поперёк его хода. Трассы легли далеко, но пройти сквозь них он не захотел: отвернул, потерял секунду. Этой секунды Петьке хватило вернуться ко мне. — Ведомый, ты куда полез? В наушниках было только его дыхание. — Увидел цель. — Твоей целью был мой хвост. — Понял. Свистеть он перестал. Пара не делала нас умнее и не спасала сама. Она только давала второму человеку возможность исправить первую глупость, пока та не стала последней. Вокруг нас разваливался общий бой. Звенья, разорванные первой же атакой, дрались вразброд, поодиночке, и «фридрихи» снимали их по одному — методично, без спешки, как обмолачивают снопы. Мы с Хромовым держались низко, у самой воды, над переправой, куда сверху заходить было тесно и опасно, и оттуда огрызались. Один раз я поймал пикирующего под ракурсом, дал короткую — и он, дёрнувшись, отвалил, потянув из-под капота серую нитку дыма. Не сбил. Но от моста отвалил, и в тот заход по мосту не легло. Хромов ещё дважды кричал мне «сзади», и дважды я валился в сторону на его голос, не глядя, — и оба раза меня не достали. Мы работали как одна машина о двух головах: он — мои глаза сзади, я — его руки впереди. Предыдущий пройти успел. Его очередь вспорола настил вдоль, перевернула повозку у перил; лошадь повисла в оглоблях, люди бросились к берегу и в воду. Мост не рухнул, но на нём всё встало. Мы защищали не доски — минуты, за которые кто-то успеет перейти. И эти минуты отвоёвывали по одному заходу. Каждый сорванный заход освобождал мост ещё на минуту. Сверху это было видно без счёта. После первого сорванного захода к восточному берегу протиснулась санитарная машина. После второго двое солдат столкнули с настила перевёрнутую повозку; лошадь пришлось перерезать из оглобель, она упала в воду, зато проход открылся. После третьего на мост втянулся грузовик с людьми в кузове. Кто-то стоял на подножке и махал колонне, не нам. Они не знали, сколько раз над ними менялись местами ведущий и ведомый. Им нужен был свободный настил ещё на полминуты. Потом немец прорвался. Пули прошли вдоль перил, люди легли прямо между колёсами. Грузовик не остановился: водитель пригнулся за рулём и вытянул машину с моста, увозя тех, кто не успел выпрыгнуть. Победа и поражение укладывались рядом, на одной доске. Мы не закрыли небо. Мы сделали в нём несколько коротких щелей. Их было четверо, и один из них был другой. Дошло до меня не сразу — по почерку. Трое ходили в атаку по школе: сверху, очередь, вверх, и снова. А четвёртый не лез в общую свалку. Висел выше, чуть в стороне, и смотрел. Ждал. Выбирал. Когда я, вертясь с Хромовым, на секунду поймал его глазами — тонкий силуэт «фридриха» на фоне белого облака, — понял: наблюдает за нашей парой. За двумя русскими, которые почему-то дерутся не по своей книге. Он свалился на нас, когда мы этого не ждали. Не сверху — сбоку, из солнца, расчётливо, как заходит тот, кто уже понял, куда мы денемся. Я успел бросить машину только потому, что Хромов снова крикнул. Немец прошёл между нами — так близко, что я увидел жёлтый кок винта, цифры на борту и голову лётчика в кабине, повёрнутую к нам. Стрелять он не стал: мы разошлись, и при таком ракурсе очередь ушла бы мимо. Но голову он повернул. Увидел. Я рванул за ним. Догнать было нечем — и всё равно дал газ: руки сработали быстрее головы. Мой ишак не догнал — «фридрих» отдал ручку от себя, провалился, разменял высоту на скорость, которой у меня не было, и на этой скорости взмыл обратно вверх — легко, с запасом, будто и не падал. Между нами была не смелость и не умение. Между нами были лишние полторы сотни километров в час и запас высоты, которые давал ему мотор и отнимал у меня мой. Техника. Голая техника. Он мог уйти от меня, когда хотел, — и оба мы это знали. На выходе «фридрих» качнулся с крыла на крыло — то ли выправлялся после резкого прохода, то ли показал Хромову, что заметил его. Потом увёл четвёрку на юго-запад, к солнцу. Переправа осталась цела; на мосту дымили две повозки, а люди снова толкались к ней с обоих берегов. Частичный успех.* * * Хауптман Курт Ланге сел последним. Механик ждал у места стоянки, показывал на пробойну в нижней части капота. Ланге выслушал, провёл пальцем по краю отверстия, посмотрел на масло на перчатке. Сказал, что вернётся через час. Механик ответил, что через два. Они не спорили: каждый назвал

свой срок, работу рассудит железо. Ланге отошёл к тени под крылом штабной машины и достал узкий блокнот. Сбитых он сюда не заносил. Здесь оставлял то, что могло пригодиться в следующем бою. Нарисовал два коротких силуэта И-16. Не рядом — один чуть позади и шире. Стрелкой отметил, как ведомый сорвал первую атаку. Второй стрелкой — как ведущий вернул ведомого из погони. Над рисунком поставил дату. Русские обычно дрались тройками. Эти двое — нет. Имени ведущего он не знал. На фюзеляже не было ничего, что стоило записывать; лицо в кабине мелькнуло на один поворот головы. Ланге записал только то, что не меняется от имени: ведущий смотрит вперёд, ведомый — назад; после ошибки сходятся снова; держатся низко над водой, где его скорость труднее обратить в новый заход. Внизу страницы оставил пустое место. Наблюдение без продолжения годилось не больше одного боя. Закрыв блокнот. Когда проходил мимо механика, тот показал два пальца: всё-таки два часа. Ланге снял перчатки и пошёл ждать. * * * Сели все, кроме того крайнего. Я вылез из кабины и какое-то время просто стоял, держась за горячий, подрагивающий остывающим мотором борт, пока отпускали сведённые руки и в уши возвращался отобранный мотором слух. Смотрел, как заходят и садятся остальные, и пересчитывал их про себя — только теперь под счёт шли не машины, а люди, и одного в этом счёте не хватало: того крайнего из первого звена, чьё имя я не успел спросить и уже не спрошу. На земле было тихо той особой тишиной, что бывает, когда вернулись не все, а те, кто вернулся, ещё не решили, победа это или беда. Хромов вылез из кабины на негнущихся ногах, белый, мокрый, и не свистел. Он подошёл ко мне, открыл рот, чтобы что-то сказать, — и не сказал, только мотнул головой. Я хлопнул его по плечу. Слов у меня для него тоже не было. Мы оба знали, что живы друг из-за друга, и это было больше любых слов. Гришин ждал у стоянки. Он всё видел с земли — и рассыпавшийся клин, и падающего крайнего, и то, как мы с Хромовым вертели вдвоём и как отвернули того, кто заходил мне в спину. — Крайнего потеряли, — сказал он. Не мне — в землю, себе. — Опять крайнего. — Потом поднял на меня глаза. — А вы двое — целы. Он не сказал «молодцы». Не сказал «вы нарушили строй». Взвешивал — считал не про бой, про то, что бой показал: что двое, которых он не разрешал, вернулись, а тройка по наставлению отдала человека. — Откуда знаешь, — сказал он тихо, уже не спрашивая, а как бы себе под нос, — что так — лучше? — Оттуда же, откуда вы, товарищ капитан, — сказал я. — Из того, кого мы хороним. Он посмотрел на меня ещё, долго. И ничего не решил вслух — но я знал, что решил. Такие, как он, меняют мнение не словами, а тем, что в следующий раз не мешают. А тот, четвёртый, не шёл у меня из головы. Что он делает, когда сядет, мне было не видать. Но породу его я угадывал. Такие ведут счёт и разбирают чужой почерк. Если он запомнил хоть силуэты, в следующем бою увидит не двух «ишаков» вообще, а пару, которая закрывает друг другу хвосты. В следующий раз он узнает нашу пару раньше. Я про него не знал пока ничего. А он уже знал наш приём. Этого хватало.

Глава 5

Приказ отходить пришёл с опозданием на сутки — как приходило теперь всё.

Немец обошёл нас с юга. «Вересовка» за трое суток из тылового лагеря стала передним краем, а к утру двадцать пятого — местом, откуда надо было уносить ноги, пока их есть на чём уносить. Связи с полком не было вторые сутки. Приказы приносили пешие вестовые — устаревшие ещё в дороге. Командиры решали сами. На свой страх. На свою голову.

К рассвету площадка встала на дыбы. Грузили полуторки: инструмент, боезапас, раненых. Что не влезало — бросали. Кто-то тащил на себе снятое крыло. Кто-то катил бочку. Кто-то бегал с бумагами, ища начальство, которого на месте уже не было. Дважды подали ложную тревогу — и дважды все попадали наземь, под колёса, а после встали и грузили дальше. Никто не спал вторые сутки. Двигались как во сне — быстро и бестолково.

Возле мастерской сцепились Лунин и старшина из обоза. Старшина хотел снять с последней полуторки ящики с инструментом и посадить вместо них людей. Лунин вцепился в борт обеими руками и не пускал.

— Людей довезёшь, — сказал он. — А чинить на новом месте чем? Зубами?

— Тут раненые.

— А у меня шесть машин. Завтра от них без этих ящиков ни одной не будет.

Оба были правы, оттого спорили зло. Я увидел у навеса пустую подводу, нашёл возницу, помог перетащить на неё двоих лежачих. Один всё просил не класть ему на ноги шинель: ног, как я понял потом, у него уже не было. На полуторке остались инструменты. На подводе легли ещё трое. Никакого хорошего решения не получилось — только такое, после которого могли ехать и люди, и железо.

Я помогал грузить, таскал ящики с боезапасом, обдирая руки, и всё косился на запад, откуда должно было прийти, — и оно не приходило, и от этого делалось только хуже: ждать удара тяжелее, чем принять. Немец не спешил. Ему спешить было незачем: дорога одна, забита, деться нам некуда, можно прийти и позже, наверняка. Так он и работал всю ту войну в сорок первом — не спеша, наверняка, по учебнику, который писал сам.

Уносили что могли. Исправные машины — их осталось всего ничего — готовили к перелёту под Слуцк. Стоит ли ещё та площадка, не знал никто.

Неисправные жгли.

Обливали бензином и жгли — сами, своими руками, чтоб не достались. Это было хуже всего. Механики, что трое суток эти машины латали, стояли и смотрели, как они горят. Лица у них были такие, будто жгли не железо.

У крайней машины возился пожилой моторист. Совал под капот ветошь. Лил из ведра. Руки дрожали. Он всё оттягивал спичку — будто ждал, что придёт другой приказ. Не пришёл. Он чиркнул, отвернувшись, и пошёл прочь, не оглядываясь. По согнутой спине было видно: часть его осталась там, в огне.

Я догнал его у дороги. На плече у моториста висела свёрнутая брезентовая сумка, из неё торчали рукоятки ключей.

— На машину садитесь.

— Там нет места.

— Найдётся.

Он посмотрел через меня на горящий истребитель.

— Три года её знал, — сказал он. — На слух знал, где что просится. А другую дадут — опять знакомься.

Я не нашёл ответа. Отобрал у него сумку и донёс до полуторки. Моторист полез следом, тяжело, с колена. В кузове потеснились молча. Для человека место всё-таки нашлось; для его машины — нет.

К полудню жечь кончили. Стоянка чадила чёрным. Уходить надо было немедленно: по дороге на восток уже тянулись беженцы, а за ними, по слухам, шли танки, и слухам в эти дни верили больше, чем приказам.

Раненых грузили последними — тех, кого можно было везти. Кого нельзя — оставляли под навесом, с фельдшером и запиской. Фельдшер был молодой, с трясущимися губами, и глаз не поднимал ни на кого: остаться под навесом на аэродроме, к которому идёт немец, значило одно, и это одно тут знали все. Я прошёл мимо не глядя. Все проходили не глядя. На войне быстро выучиваешься не смотреть туда, куда нельзя смотреть, если хочешь идти дальше. Полуторки уходили одна за другой, буксуя в колеях, облепленные людьми, и колонна на дороге всё росла, вбирая новых — из деревень, с хуторов, отовсюду, куда уже дотянулась война.

Взлетать выпало шестерым. Три исправных, три поднятых кое-как. Остальные — колонной, по земле, на восток. Колонна растянулась по разбитой дороге на версту: полуторки, повозки, раненые на телегах, приставшие по пути бабы с узлами и детьми. Их-то и надо было прикрыть с воздуха. Их — и небо над ними, в котором нас было шестеро.

— Соколов, Хромов — пара. Прикрываете колонну до Слуцка. — Гришин не отрывался от карты, водил по ней пальцем, будто карта ещё что-то значила. — С вами Кравцов. Молодой. Держите его между собой.

Он обвёл карандашом голову колонны и продолжил:

— Я с остальной тройкой беру голову. На дороге растянемся — не ищите нас, держите хвост. Садимся где дотянем, о месте дадим знать по земле.

Кравцов подошёл. Совсем мальчишка — моложе Хромова, с торчащими ушами, с той отчаянной весёлостью в глазах, какая бывает у тех, кто ещё не поверил, что убить могут именно их. Он был из-под Полтавы. Сказал это зачем-то, будто это что-то меняло. И что сестра выходит замуж в августе, а он обещал быть.

— На чём держишься? — спросил я.

Весёлость у него на миг пропала. Вопрос оказался не тем, к которому он готовился.

— В смысле, товарищ младший лейтенант?

— В строю. Глазами куда смотришь?

— На ведущего.

— Неправильно. На ведущего, на Хромова и наверх. Если потеряешь одного — ищешь второго, не дорогу. К дороге полезешь один, тебя там и снимут.

Он быстро кивнул. Слишком быстро.

Хромов стоял рядом, застёгивал перчатку зубами. Выплюнул ремешок и сказал:

— Я справа буду. Уши у тебя большие, меня услышишь.

Кравцов рассмеялся — благодарно, хотя шутка была так себе. Потом нагнулся, подобрал с земли оброненную кем-то почтовую карточку, стряхнул грязь и сунул под ремень планшета.

— Сестре писать будешь? — спросил Хромов.

— Как сяду. Она в августе замуж идёт. Я обещал быть.

Он сообщил это уже спокойнее, как точку назначения после Слуцка. Хромов перестал улыбаться. Я повторил порядок ещё раз, заставил Кравцова показать руками, где он должен висеть после лобового захода. Тот показал верно.

— Не геройствуй, — сказал я. — Твоя работа — вернуться.

— Понял.

Он действительно понял. На земле.

Мы вырулили по изрытому полю, обходя воронки, поднялись над чадающей стоянкой — и я в последний раз оглянулся на «Вересовку», на палатки, на чёрные остовы, на дым. Мото-

рист стоял у полуторки, зажав сумку с ключами между сапог. Когда под нами прошла крайняя чёрная воронка, он снял пилотку. Больше я его не видел.

* * *

Колонну достали ещё на полпути.

Не худые — двухмоторные. Тяжёлые. Шли бомбить дорогу. Сверху, для порядка, пара худых.

Мы были ниже. В стороне. Я успел прикинуть: развернуться, ударить в лоб, пока не легли на боевой, — сорвать заход.

— Кравцов, за Хромовым! Бьём передних!

Пошли в лоб.

Сошлись быстро. Расстояние съедалось на глазах — их скорость плюс наша, лоб в лоб, кто первый не выдержит. Выдерживать я не собирался.

Бомбовоз рос в прицеле. Медленно. Тупо. Огромно. Я дал очередь — рано, мимо. Ещё — ближе. Осколки брызнули с крыла, с мотора. Стрелок огрызнулся, трасса прошла над самым козырьком, я вжал голову. Мы разошлись под ним — вверх, врозь, впритирку.

Передний шарахнулся. Вильнул. Сбросил куда попало — в поле, мимо дороги. Столбы земли встали в стороне от колонны.

Второй повернул за первым. Ссыпал бомбы раньше срока, лишь бы сбросить, — тоже в поле. Колонна жила. Пока жила.

В наушниках заорал Хромов — что-то про верх, про солнце; слов я не разобрал, разобрал тревогу. Крутанул головой. Небо над нами было пустое, белое, слепящее, и в этой белизне, высоко, стояли две точки. Ждали своей минуты.

А сверху уже падали худые.

Двое. Один — на меня. Другой — вниз. На Кравцова.

Кравцов отстал. Не удержался за Хромовым, как я велел. Качнулся к колонне, к людям — будто хотел прикрыть их собой.

— Третий, в строй! — крикнул я. — К Хромову!

Его машина дрогнула, начала доворачивать. Значит, услышал. Но внизу бомбовоз снова разворачивался к дороге, и Кравцов посмотрел туда. Я не видел его лица — только движение самолёта: полкрыла обратно к колонне. Одно лишнее решение между двумя правильными приказами.

Я увидел обе картинки разом. Худой, заходящий мне в хвост. Худой, падающий на мальчишку.

Секунда на всё.

Я повернул к Кравцову. Мой худой ударил раньше: трассы прошили воздух перед козырьком, заставили отвернуть. Не отверни я — столкнул бы нас обоих под его очередь. Я бросил машину вниз и вбок, вырвался из прицела и сразу потянул обратно, к дымному следу мальчишки.

— Кравцов, вниз! Вниз уходи!

Он либо не услышал, либо не понял, куда именно — вниз было уже поздно.

Худой достал его сзади — короткой, аккуратной очередью, спокойно, деловито, без злобы. Машина Кравцова вспыхнула не сразу — нехотя, потянула дым, клюнула, попыталась выровняться, и мальчишка ещё тянул её на себя, ещё жил в ней, ещё хотел в тот свой август, — и не выравнился, и ушёл вниз, к земле, к той самой колонне, которую хотел прикрыть, и встал за дорогой чёрным столбом.

Мой худой проскочил. Я рванулся за тем, что сбил Кравцова, поймал на миг его брюхо в кольцо и дал очередь. Далёкую, злую, бесполезную. Он ушёл вверх, как по лестнице. Второй зашёл мне со спины, и только тогда Хромов ударил через моё плечо. Трассы легли перед немцем; тот отвернул. Петька не спас Кравцова. Он спас меня секундой позже.

Двое из троих.

Я прошёл над самой колонной, низко, на бреющем — и она смотрела вверх: сотни задраных серых лиц, одинаковых, ждущих, чью сторону нынче возьмёт небо. Бабы, дети, раненые на телегах, старики с узлами. Ради них мы и лезли сюда. Ради них где-то за дорогой догорал сейчас Кравцов.

Мы отвернули их от колонны. Мы полезли на второй заход, злые, и они не стали связываться — у них была своя работа впереди, восточнее, и разменивать нас на возню над одной дорогой они не захотели. Худые качнулись и ушли, и бомбовозы за ними, туда, где для них было настоящее.

Бомб на дорогу, где шли люди, они не положили. На бумаге это можно было бы записать в успех.

Мы сделали ещё круг. Не потому, что могли помочь, — просто уйти сразу оказалось выше моих сил. У столба дыма лежало поле, изрезанное межами. Ни парашюта, ни движения. На дороге останавливались люди; кто-то побежал через рожь к месту падения. Я покачал крыльями, сам не зная зачем, и лёг на восточный курс.

Кравцов остался в поле. Почтовая карточка под ремнём планшета — с ним. Ему было девятнадцать. У него сестра выходила замуж в августе.

* * *

Сели мы под Слуцком к вечеру, на чужой раскисшей площадке, на последних каплях.

Площадка не была готова нас принимать — как не готово было к этой войне всё, за что она бралась: разъезженное поле, две палатки, бочки с горючим, которого на всех не хватало, растерянный техник в чужой форме, не знавший, чьи мы, откуда и надолго ли. Я не добился от него ничего, кроме того, что вон там суше и туда можно закатить машины. Мы закатали две — из нашей тройки. Гришинская тройка, как мы узнали только ночью, села южнее, у дороги: у одной машины закипел мотор, и свои посадили всех рядом, чтобы не бросать.

Я вылез и не сразу нашёл в себе силы разжать пальцы; руки не дрожали, они сделали всё, что успели: сорвали заход, вывели машину из-под огня, потянулись к Кравцову и опоздали. Ошибка была не одна и не чья-то: я поставил необстрелянного третьим в пару, Гришин послал шестерых прикрывать дорогу, Кравцов увидел людей под бомбами и дёрнулся к ним, немец дождался. Из таких причин война складывала один чёрный столб.

Хромов спрыгнул на землю, сорвал шлем и швырнул его под крыло.

— Я его потерял.

— Мы оба потеряли.

— Он за мной должен был.

— Должен был.

Хромов ждал продолжения: что надо было сделать, где повернуть, сколько секунд он прозевал; я мог разобрать бой по движениям и разложить вину на аккуратные доли, только следующего вылета это уже не меняло.

— В следующий раз, если третий ломает строй, орёшь сразу, — сказал я. — И не тянешься за ним следом. Сначала сообщашь.

— А потом?

— Потом ведущий решает, есть ли ещё время.

Он поднял шлем, вытер о рукав прилипшую грязь. Учиться приходилось на человеке, который утром ещё смеялся про свои уши.

Я снова сел на плоскость и привалился к борту, под ладонью остывала обшивка. На миг вместо чужой площадки пришла обычная стоянка после рейса: душ, стакан на кухне, телефон в руке и номер дочери, которому десять лет находились причины не звонить; теперь можно было набрать его хоть тысячу раз — ответить было некому.

Большим пальцем я надавил на мозоль левой ладони: боль была здешняя, холод металла — здешний, Хромов, растирающий грязь по шлему, — тоже.

— Андрей, помоги толкнуть! — крикнул Лунин от носа машины.

Я соскочил — не Северин, Андрей, — подставил плечо под плоскость, и мы втроём покатили истребитель туда, где земля была суше.

Колонна дотягивалась к площадке уже в темноте — усталая, оборванная, бесконечная. Позади, на западе, стояло широкое зарево: там дожигало и то, что мы подожгли сами. Слуцк пах гарью, бензином, мокрой шинелью, конским потом. Запах въелся в гимнастёрку и волосы; сколько ни тереть лицо, он оставался на ладонях.

У первой телеги я увидел тех, кто утром лежал под навесом: возница довёз их, безногий спал или был без сознания, укрытый той самой шинелью, молодой фельдшер шёл рядом, держась за задок обеими руками. Значит, уехал и он. Я испытал облегчение, почти стыдное по силе, будто один довезённый человек мог вычесть Кравцова из дневного счёта; не мог, но фельдшер был здесь, и этого никто уже не отнимал.

Люди устраивались на ночь как придётся — под крыльями, в кабинах, в наспех вырытых щелях, не раздеваясь, вполглаза, потому что завтра могло начаться в любую минуту, а могло и не начаться, и обе эти неизвестности были одинаково тяжелы. Где-то в темноте тихо, без слов, плакал человек — не от страха, а от того, что кончились силы держать. Никто его не утешал и не стыдил. Всем было чем.

К ночи подтянулся Гришин — пешком, с последними машинами колонны, чёрный от пыли, охрипший. Он обошёл то, что осталось от эскадрильи, — две машины, горстку людей у колёс, — и остановился перед нами.

— Третий где?

— Сбит, — сказал я. — За дорогой. Пара истребителей сверху. Из строя вышел к колонне, обратно вернуть не успели.

Гришин посмотрел на Хромова. Тот подтвердил кивком.

— Бомбовозы?

— Сбросили мимо дороги.

Он записал на обороте карты обе строки, сначала Кравцова, потом бомбы: не победу и потерю — две части одного вылета. Сложил карту и сказал, что к утру, если немец даст, перелетаем дальше, под Бобруйск; горючего дадут в обрез, на один перелёт; до утра — спать, кто может.

Никто не двинулся. Гришин это понял, но утешать не стал.

— Часовые по двое, — приказал он. — Остальным лежать. Не можете спать — лежите молча. Завтра руки понадобятся.

Я сидел на мокрой земле, привалившись к стойке шасси, и слушал, как оседает вокруг растянутый на версты обоз: кашляет, стонет, скрипит колёсами, переступает лошаадьми, укладывается — не разбитая армия, а очень большая усталая деревня, которую подняли среди ночи и погнали неведомо куда. Люди не думали про фронты и сорок пятый, им надо было дожить до утра и понять, куда идти дальше. Моё знание будущего не давало ни горючего, ни ещё одной пары в воздухе, ни минуты, которой не хватило Кравцову.

За полночь пошёл дождь — мелкий, холодный, обложной, — застучал по обшивке, брезенту, каскам и лужам. Люди подняли воротники и не тронулись с мест: под дождём было мокро, а идти всё равно было некуда. Вода текла по лицу. Я не вытирал.

Хромов сидел на корточках у машины, привалившись затылком к колесу, и молчал. Не свистел. Я опустился рядом. Про Кравцова мы друг другу не сказали ничего — что тут скажешь. Он был между нами третьим, и его не стало между нами, и это было всё, что можно про него сказать, не соврав.

Мы сидели плечом к плечу. Хромов вытащил из кармана огрызок карандаша, покрутил и убрал обратно.

— Он карточку поднял, — сказал он. — Видел?

— Видел.

— Даже адреса не было.

— Был бы адрес — легче не стало бы.

Хромов дёрнул подбородком. После этого молчать стало можно.

От штабной палатки вдоль машин шёл человек с фонарём — выкликал по списку, считал живых. Голос его наплывал из темноты и снова уходил, ровный, усталый.

— Хромов!

— Тут, — отозвался Петька.

— Соколов!

— Тут, — сказал я.

Сказал сразу, раньше, чем успел проверить, меня ли зовут.

Я поднялся на свет фонаря и пошёл узнавать, куда нам дальше по этой дороге на восток.

Глава 6

Новый аэродром был не аэродром, а поле за деревней — восточнее, дальше от границы на два дня отхода и на половину полка потерь.

Полк, вернее то, что от него осталось, стягивался сюда по частям: по воздуху — уцелевшие машины, по земле — колонна, растянувшаяся так, что хвост её приходил через сутки после головы. Двадцать восьмого пал Бобруйск — об этом сказали шёпотом у кухни, сперва не поверили, потом поверили, потому что всему плохому теперь требовалось меньше доказательств.

Я знал, что Западный фронт рухнет быстро. Знал про Минск, Смоленск, Москву и декабрь. Но, услышав про Бобруйск, не смог бы поклясться, был он в моих книгах двадцать седьмого или двадцать восьмого, до Слуцка или после. На карте из будущего стрелы проходили через сотни вёрст; здесь каждая верста имела деревню, мост, полуторку в канаве и людей, которым до большой стрелы не было дела. Знание не врало. Оно просто было слишком крупным, чтобы подсказать, откуда придут завтра и успеет ли последняя машина с колонной.

Новое поле жило мелкой, суетливой жизнью отступления. Рыли, таскали, латали. Кто-то спал стоя, привалившись к крылу. Кто-то писал письмо огрызком карандаша, послунявив его, и лицо у него было такое, будто он не знал, дойдёт ли письмо и будет ли кому его читать. Полк ужаслся так, что от прежней эскадрильи осталась горстка.

Прибывающих считали не по спискам, а по тому, кто дошёл. В полдень в поле вползла полуторка с пробитым радиатором; её последние две версты тянула крестьянская лошадь. В кузове сидел тот пожилой моторист, чью машину сожгли на «Вересовке». Брезентовую сумку с ключами он держал на коленях. Увидел меня и сразу спросил, где ставить мастерскую. Вчера у него отняли самолёт, сегодня он уже искал, какую машину взять на слух.

Рядом с ним из кузова спустился молодой фельдшер. Тот самый, который утром не поднимал глаз у навеса. Теперь губы у него не тряслись: он потребовал место под перевязочную, чистую воду и двух людей таскать раненых. Ему дали пустой сарай, бочку сомнительной чистоты и одного человека с рукой на перевязи. Он принял всё без спора и пошёл работать.

Так и собирался полк — не из частей, а из тех, кто добрался.

К вечеру ожидание человека с папкой стало почти облегчением: пусть уже будет, что будет. Неизвестность за спиной выматывала хуже прямого вопроса.

За мной пришли не сразу. Сперва вызвали Лунина — на полчаса, не больше. Лунин вышел от человека с папкой серый, прошёл мимо меня к машинам и только у капота обронил, ни к кому: «Ну-ну». Больше не сказал ничего. И это его «ну-ну» было хуже долгого разговора.

Мы обживались на новом поле, как обживаются на день: рыли щели, растаскивали и маскировали машины — теперь это делали уже без моих подсказок, само собой, наученные, — и ждали горячего, приказов и немца, в порядке вероятности. К вечеру двадцать восьмого стало известно, что при полку теперь есть свой человек из органов. Что он приехал с тыловым эшелоном. И что он уже спрашивал, кто тут летал на «Вересовке» и кто уводил машины под лес «по предчувствию».

Лунин нашёл меня у машины в сумерках. Он не стал ходить вокруг — присел рядом, достал ветошь, повертел в руках; взгляд не отрывал от раскрытого капота.

— Приехал человек с папкой. Спрашивал про тебя.

— Знаю, — сказал я.

— Не знаешь. — Он всё вертел ветошь. — Он меня полчаса спрашивал, какие твои слова были до второго налёта, а какие мы потом к ним приписали. Три раза, в разном порядке. Я

сказал как было: ты велел тащить машины под деревья, потому что немец вернётся. Он спросил, почему остальные не догадались.

— И что ты ответил?

— Потому что остальные трое суток не спали. — Лунин наконец посмотрел на меня. — Ты, парень, летать умеешь и в машинах смыслишь больше, чем тебе положено по годам, — это я вижу, и Гришин видит, и слава богу. А тот увидит другое: ты слишком часто знаешь, куда ткнуть пальцем. Я тебе говорил — помалкивай. Так вот теперь помалкивай вдвое. Не умничай, но и дурака не валяй: дурака он раскусит раньше, чем ты рот закроешь. Отвечай на то, что спросил. На два следующих вопроса за него не отвечай.

Я хотел спросить, откуда он сам всё это про меня понял — раньше человека с папкой, раньше кого угодно. Но не спросил. Лунин в первый же день заметил несообразность и с тех пор прикрывал её работой: не поверил мне, а проверял каждое предложение железом. Если держало — делал. Его доверие не было слепым, и потому стоило дороже.

Он поднялся, кряхтя, сунул ветошь за пояс и ушёл в темноту, к другой машине. Я остался у раскрытого капота и ещё раз, слово в слово, восстановил всё, что говорил с двадцать второго июня. Веселов наверняка уже сделал то же самое.

За мной пришли утром двадцать девятого.

* * *

Он сидел в углу палатки, за столиком, сколоченным из ящичков, и перед ним лежала папка.

Обычная папка — картонная, серая, с завязками. Но лежала она особым образом: точно по краю стола, уголок к уголку, и это было первое, что бросалось в глаза, — как этот человек кладёт папку. Аккуратно клал. Ровно. Так кладут то, чему придают вес.

В палатке было сумрачно и тесно. Пахло сургучом, махоркой и той особой канцелярской пылью, которую этот человек, казалось, возил с собой сквозь всё отступление, — запахом кабинета посреди разгрома. На ящике перед ним, кроме папки, лежали остро отточенный карандаш и вторая папка, пустая; и в эту пустую, я понял, ляжет всё, что он про меня сегодня оформит. Он ничего не делал вслух зря — каждое движение по делу, по бумаге.

— Младший лейтенант Соколов. — Он не спросил — прочёл, с листа. — Садитесь.

Я сел. Он был немолод — лет тридцати, но с той ранней сухостью в лице, какая бывает у людей кабинетной, бумажной службы: бледный, гладко выбритый, в отглаженной, несмотря ни на что, гимнастёрке — единственной отглаженной гимнастёрке на всём этом поле. Старший политрук. Не строевой. Его война шла на бумаге, и на этой войне он, видно, был не из последних.

— Веселов, Марк Осипович. Третье отделение. — Он помолчал, давая словам осесть. — Знаете, что это?

— Знаю, товарищ старший политрук.

— Хорошо, что знаете. Многие путают. — Он раскрыл папку, посмотрел в неё, хотя, я уверен, помнил всё наизусть. — Значит, так. Двадцать второго июня, на площадке «Вересовка», после первого налёта вы предложили технику Лунину рассредоточить и замаскировать уцелевшие машины. До второго налёта. Так?

— Так.

— Откуда вы знали, что будет второй налёт?

Первый вопрос — прямой, в лоб, чтоб посмотреть, как я дёрнусь.

Я не дёрнулся. Держать лицо я выучился в грозу над тайгой, когда земля близко и дёргаться нельзя: дёрнешься и убьёшь. Веселов смотрел и ждал без злобы, с терпением человека, который умеет ждать оговорки дольше, чем собеседник умеет её оттягивать.

— Я не знал, товарищ старший политрук. Предположил.

— Предположили. — Он повторил это ровно, без выражения, как переносят слово в протокол. — На основании чего предположили?

— На основании того, что в первый день так обычно и делают. Оглушают с утра, к обеду возвращаются добить. Я бы на их месте вернулся.

— Обычно, — сказал Веселов. — У вас большой опыт первых дней войны?

— Нет.

— У кого-нибудь на вашей площадке был?

— Нет.

— Тогда слово «обычно» взялось откуда?

Хороший вопрос. Не обвинение — щель между моими словами, в которую он спокойно вставил карандаш.

— Из логики. Если первый удар не уничтожил цель, цель добивают.

— Логика была у всех. Предложили вы один.

— Значит, у остальных были другие дела.

Он записал эту фразу дословно. Не потому, что она его убедила.

— «Я бы на их месте». — Он чуть наклонил голову. — Вы, товарищ младший лейтенант, часто ставите себя на место противника?

— Когда это помогает прикрыть машины — часто.

Он не улыбнулся. Он вообще, кажется, не умел улыбаться — только раз, когда я это сказал, у него дёрнулись губы, коротко, без глаз, сухой усмешкой, которую он тут же убрал, будто вытер.

— Складно, — сказал он. — Складно отвечаете. — И поправил папку — сдвинул её на полсантиметра, снова уголок к уголку, хотя она и так лежала ровно. Я потом заметил, что он делает это перед каждым вопросом «на добивание», как другой человек перед таким вопросом переводит дыхание. — А вот скажите. Тактику пары вместо звена — тоже предположили?

Гришин. Значит, и про пару доложили. Значит, папка толще, чем кажется.

— Пару я предложил командиру эскадрильи по соображениям боя. Тройка теряет крайнего. Пара прикрывает друг друга. Это можно объяснить любому.

— Можно, — согласился Веселов ровно. — Только вот незадача, товарищ Соколов. Наставление у нас — звено. По наставлению воюет вся страна. А вы, лётчик первого года, за неделю войны знаете лучше наставления. И налёт угадываете. И машины прячете так, что они одни на всю площадку и уцелели. — Он сложил руки на папке. — Я человек простой. Я вижу лётчика, который слишком часто оказывается прав. И моя работа — не восхищаться этим. Моя работа — понять, откуда это.

— Из того, что я стараюсь не гибнуть зря, товарищ старший политрук. И людей рядом стараюсь не терять.

— Кравцова потеряли.

Это он бросил ровно, без нажима, глядя мне в лицо, — и это был удар ниже, чем всё прежнее, потому что тут он был прав, и я это знал лучше него.

— Потерял, — сказал я. — Он вышел из строя к колонне. Я повернул к нему, второй немец заставил отвернуть. Вернуться успел поздно.

— После посадки вы установили новый порядок действий ведомого при сломе строя.

— Установил для своей пары.

— Без приказа командира эскадрильи.

— Порядок связи внутри пары — моя ответственность как ведущего.

— Вот видите, — сказал Веселов. — Я спрашиваю, откуда у вас ответы. Вы отвечаете новым решением. У вас на любую потерю появляется правило, на любую опасность — порядок действий. Это полезно, товарищ Соколов. И это же требует объяснения.

Впервые за разговор в его голосе был не азарт ловящего, а обязанность объяснить несообразность. Полезность не оправдывала меня в его глазах. Диверсант тоже мог сперва стать полезным, чтобы ему поверили; слишком умный лётчик мог быть удачей, а мог — вложением противника. Веселов не имел права выбрать приятную версию только потому, что она нравилась Гришину.

— Вы считаете меня предателем?

— Я ничего не считаю до проверки. И вам советую не отвечать на вопрос, которого я не задавал.

Лунин сказал почти то же самое. Я замолчал.

Веселов подождал, потом закрыл карандашом строку, которую писал.

— Представьте, товарищ Соколов, что к вашему самолёту допустили нового моториста. Работает чисто, неисправности находит раньше старых, но откуда выучился — не говорит. Вы бы обрадовались и больше не спрашивали?

— К самолёту не допустил бы, пока Лунин не проверит.

— Вот и я проверяю. Только самолёт у меня — полк.

В голосе не было торжества от удачного сравнения. Он не пытался меня запугать и не наслаждался властью; объяснил свою работу тем единственным способом, который я не мог отвергнуть как пустую придирку. От этого стало труднее. Со злодеем можно было бы спорить, труса презирать, карьериста ловить на выгоде. Передо мной сидел аккуратный человек, который делал положенное и потому не нуждался в моей вине заранее.

— Проверяйте, — сказал я.

— Уже.

Он помолчал, глядя в папку, и зашёл с другой стороны — ровно, без нажима, будто просто уточнял анкету:

— А до аэроклуба вы где были, товарищ Соколов? Здесь одна строка: колхозник. Откуда у деревенского паренька такая, извините, голова?

Вот это был опасный вопрос — опаснее прежних. О довоенной работе Андрея я знал одну строку из бумаг и несколько домашних намёков в письмах; придумывать подробности было нельзя, у Веселова найдётся, с чем сверить.

— Деревенский, товарищ старший политрук, — сказал я. — В деревне тоже думают. Аэроклуб принял, школа выпустила. Остальное проверяйте у них.

— Проверим. — Ни разочарования, ни удовлетворения в голосе не было.

Он придвинул пустую папку и что-то коротко записал, две строки, не давая прочесть, а потом отложил карандаш ровно параллельно краю стола. Снаружи, на поле, гоняли на пробу мотор — привычно, как всегда, — и эта обычная жизнь в двух шагах от палатки казалась вдруг далёкой и ненастоящей, будто я уже был не там, а здесь, за этим столом, надолго. Может, и до конца: такие столы, я знал и это из своих книг, для иного человека оказывались последним, что он в жизни видел.

Я смотрел, как ровно лежит его папка, уголок к уголку. Против человека я бы что-нибудь придумал. Против папки — нет: ей нечего сказать, кроме того, что в неё уже вписано, а вписывалось туда с каждой минутой всё больше.

* * *

Он мог бы держать меня там до вечера, поворачивая один и тот же вопрос разными боками, — и, кажется, собирался. Но тут полог палатки откинулся, и вошёл Гришин.

Он не спросил разрешения. Капитан и старший политрук по знакам различия были вровень — одна шпала, — но у капитана за спиной стояло небо, а у старшего политрука бумага, и оба знали, чей вес в эту минуту тяжелее. Гришин вошёл как в свою палатку.

— Забираю лётчика, — сказал Гришин. — Через час вылет. Людей мало.

— Мы не закончили.

— Закончите после вылета. Если будет кого заканчивать. — Гришин сказал это без вызова, устало, как говорят очевидное. — Товарищ старший политрук. Я вам одно скажу, и пишите как хотите. У меня из шести машин в живых две. И обе — потому что вот этот, — он мотнул подбородком на меня, — ещё на Вересовке растащил их под лес, а при отходе прикрыл. Мне всё равно, откуда он знает. Мне важно, что мои люди с ним возвращаются чаще, чем без него. Это тоже занесите.

Веселов посмотрел на него долго. Потом на меня. Он не сердился — я видел, что он не сердится, что для него это не ссора, а работа, и что Гришин своими словами не закрыл дело, а только отложил.

— Подошью, — сказал он спокойно. — Я всё подшиваю, товарищ капитан. И то, что он полезен, — тоже. Полезный человек с непонятным источником сведений — это, знаете ли, ещё интереснее, чем бесполезный.

Гришин не ответил. Ему и нечего было ответить: Веселов был по-своему прав, и оба это знали, и оба знали, что правота Веселова опаснее любой неправоты — её не оспоришь. Капитан только глянул на меня, коротко и тяжело, и в этом взгляде было не «я тебя выручил», а «выручил сегодня, а завтра выручать будет нечем».

Он собрал листы, ровно постучал ими о столик, выравнивая, и вложил в папку. Завязал одну завязку. Вторую завязывать не стал.

Папка осталась приоткрытой, и из неё, уголком, торчал верхний лист, и на листе этом сверху, чётким писарским почерком, была выведена фамилия. Моя. Соколов. Он не убрал её. Оставил на виду — не по забывчивости, я понял это сразу, а нарочно, чтоб я видел, что она теперь там есть.

— Идите, товарищ младший лейтенант, — сказал он. — Летайте. Возвращайтесь. — И, когда я уже был у полога, добавил, не повышая голоса, так же ровно, как заносил: — Мы ещё вернёмся к этому разговору.

Я вышел на свет. Гришин шёл рядом, молчал, и только у машин сказал, не глядя:

— Не умеешь ты, Соколов, быть незаметным. — Он помолчал. — Учись. А то он тебя раньше немца достанет.

— За Кравцова он уже знал.

— Он знает всё, что попало в бумагу. А после твоих порядков туда скоро половина эскадрильи попадёт.

У машины Гришин остановился. Лунин с мотористом работали под капотом и сделали вид, что нас нет.

— Я тебя там не оправдывал, — продолжил капитан. — Не за что пока оправдывать. Я сказал, что ты полезен. Это разные вещи.

— Понимаю.

— Нет, не понимаешь. Полезного держат рядом, пока польза больше риска. Ошибёшься один раз — спишут на войну. Ошибёшься так, будто знал заранее, — он первым спросит, кому это было надо.

— Что прикажете?

Гришин провёл пальцем по пробоине в плоскости, которую Лунин уже обвел мелом.

— Никаких предчувствий. Есть расчёт — покажи расчёт. Есть наблюдение — назови, кто ещё видел. Есть предложение — дай мне его до боя, чтобы решал я. Не тащи один то, что полагается тащить командиру.

Это было не обещание прикрыть. Он устанавливал границу своей ответственности и приглашал меня внутрь неё — пока приглашал.

— Есть, товарищ капитан.

— Вот теперь понимаешь.

Я не ответил. Быть незаметным значило не мешать себя убить — а я мешать собирался, и себе, и этой войне.

Небо на западе было чистым. Там находилась понятная опасность, с которой я умел говорить на своём языке. За спиной, в палатке, осталась папка с моей фамилией и человек, который не стал её закрывать. С небом я знал, что делать. С бумагой — нет.

Глава 7

Из палатки с человеком и папкой я вышел и пошёл к машинам. Вылет, которым Гришин выдернул меня от Веселова, вышел пустым: немца мы не встретили, покрутились над дорогой и вернулись.

Больше идти было некуда, и в этом была своя правда. Веселов со своей папкой никуда не денется, папка будет толстеть, но не завтра перевесит. А завтра эскадрилье лететь на том, что за ночь сумеют привести в порядок. Здесь, у машин, от меня требовались не объяснения, а исправный мотор; с этим языком я умел обращаться лучше.

Ночью я не пошёл к себе. До рассвета оставалось часа четыре — те самые часы, в которые обычно и делается всё, что потом спасает или не спасает. Новое поле стояло глухое, беззвёздное, пахло бензином, палёным и остывающим железом. Стоянка не спала: где-то стучали по металлу, где-то, чертыхаясь вполголоса, снимали с машины мотор; переносные лампы бросали жёлтые пятна, в которых копошились люди. Из двух десятков машин, которые успели собрать под Гришина при отходе, на ходу оставалась горстка, и каждую из этой горстки надо было к утру либо поднять, либо честно признать негодной.

Лунин был у второй машины — снял капот, стоял, смотрел в мотор, как смотрят в лицо больному. Я подошёл и стал рядом, и какое-то время мы просто смотрели вместе.

Мотор был плох. Не убит — плох: подтекал по стыку, на жестяном поддоне лежали вывернутые свечи в чёрном нагаре, а по неровному сопротивлению, когда Лунин проворачивал винт, цилиндры держали неодинаково. Такой мотор ещё поднимал машину — и в этом была беда: то, что пока бегаёт, гоняют, пока не встанет. Встаёт оно всегда не вовремя — на взлёте, на выходе из атаки, над чужой территорией.

— Отказы. — Я дождался, пока винт остановится. — На последних вылетах сколько машин вернулось не по бою? Само сдохло?

— Три. — Лунин не обернулся. — Одна — свечи, одна — бензонасос, одна — трос руля перетёрся у ролика. Лопнул бы на взлёте или в бою — ногой машину уже не удержишь. Хорошо, заметили на пробеге.

— А почему заметили на пробеге, а не до?

Вот теперь руки его в моторе остановились. Он вытер их ветошью — хотя они были чистые, — и только тогда обернулся.

— Потому что до — некогда. Ты пойми, товарищ младший лейтенант. Машин мало, вылетов много, людей у меня — старик с той сожжённой машины да двое мальчишек, которые полгода как от станка. Мы латаем то, что видно, и гоняем в воздух то, что бегаёт. На большее рук нет.

— Рук нет, — согласился я. — А регламент есть?

Он не ответил. Честного «есть» у него не было, а соврать он не умел.

Этот разговор в авиации старше нас обоих. Регламент у полка был: карты осмотров, сроки работ, подписи техников. Двадцать второго часть машин как раз стояла разобранной на плановом обслуживании. Теперь карты ехали неизвестно в какой полуторке, часы налёта никто не успевал сводить, а Лунин выбирал работу по тому, откуда сильнее текло. Я не собирался изобретать технику сорок первого года для людей, знавших её лучше меня. Я мог дать другое: короткий обязательный минимум, который не тонет в общей очереди, и след, по которому видно, что уже проверено, а что только обещали проверить.

— Покажи вашу карту, — попросил я.

Лунин достал из ящика замасленную ведомость. На ней оставались довоенные графы, ровные строки и старые подписи; последние три дня были заполнены кусками, карандашом

поверх карандаша. У одной машины значилось «осмотрена», но не было ни времени, ни фамилии. У другой дважды записали свечи и ни разу — управление.

— По такой бумаге всё сделано. А трос перетёрся.

— Бумага у меня не крутит гайки.

— Зато не даёт двум людям крутить одну и забыть соседнюю.

Он хотел огрызнуться, но посмотрел на ведомость ещё раз.

Я присел у колеса.

— Давай так. Перед каждым вылетом оставляем положенный осмотр, но начинаем с короткого отсева: течи, уровни, доступный трос, замки, панели, винт. Нашёл неладное — дальше машина не идёт. Раз за ночь — семь опасных мест глубже: тяги и тросы, свечи, топливный фильтр, масляный фильтр, привод шасси, управление, оружие с оружейником. Остальную карту не выбрасываем. Эти семь просто нельзя отложить на потом.

— А кто последнее проверял?

— Пишет фамилию и время. Не галочку. Если не успел — клетка пустая, и машину считаем непроверенной.

— Считать-то кто будет? — спросил старик-моторист. Он подошёл неслышно и теперь стоял за Луниным, держа в обеих руках снятый патрубок. — У меня до свету две машины. У конопатого — одна, да он к мотору пока как телёнок к забору: лбом и с разбегу.

Конопатый, возившийся неподалёку, услышал и покраснел, но головы не поднял.

— Поэтому не я точки выберу. Выбирайте вы. Что за неделю ломалось, что находили поздно, что в воздухе уже не поправишь.

Лунин перевернул ведомость чистым краем вверх. Три человека стали называть, а он писал. Свечи назвал старик. Бензонасос — конопатый, уже без обиды: на его машине отказала подача. О тросе Лунин сказал сам. О замке капота напомнил оружейник — видел, как створку однажды раздуло на пробеге. Пунктов набралось больше десятка, и тут началась настоящая работа: не вписать всё страшное, а отделить то, что надо делать непременно, от того, что можно оставить в полной карте и очереди ремонта.

Спорили дольше, чем я ожидал. Лунин вычеркнул мой винт: его и так осматривали перед каждым запуском, отдельная красная графа ничего не меняла. Старик вернул топливный фильтр, который я хотел объединить с общей строкой мотора: грязный бензин теперь лили из всякой тары, и дважды в отстое находили песок. Оружейник отказался подписываться за пулемёты вместе с мотористами. Правильно отказался.

Когда осталось семь строк, моими в них были только порядок и правило пустой клетки. Всё остальное выбрали люди, которые полезут внутрь машины.

Я не стал объяснять на словах — слова технарь пропускает мимо ушей. Я взял ближнюю машину и прошёл семь точек руками, при нём.

Контровка. Провёл пальцем по тягам управления, по гайкам: тонкая проволока, удерживающая гайку от самоотворачивания, должна лежать натянуто. Одна ослабла. «Эту заново», — сказал я, и Лунин молча взял пассатижи.

Трос. Проводка руля направления на «ишаке» шла через ролики, и возле перегиба трос начинал пушиться. Я провёл вдоль него ветошью: зацепилась за оборванную проволоку — участок надо открывать и смотреть целиком.

— Вот он у меня и перетёрся, — глухо сказал Лунин из-за плеча. — Тот, третий свежий отказ. На честном слове заметили. — Он протянул руку мимо меня и сам провёл ветошью по тросу. — Ладно. Про трос понял.

Свечи, бензофильтр, сетка масляного фильтра — нутро мотора. Нагар на свечах даёт пропуски, грязь в топливе душит подачу на полном газу, металлическая крошка в масляной сетке означает, что внутри уже ест железо. Признак опытный глаз ловит быстро; добраться, открыть, промыть и собрать обратно — работа.

Шасси. У «ишака» ручная лебёдка, тросы и десятки оборотов рукоятки. На стоящей машине полный ход не проверишь: вес лежит на колёсах. Быстрый осмотр давал только замки, видимые участки тросов, барабан и люфт рукоятки. Если находили задир или тугой ход, машину ставили на козелки и только тогда прогоняли уборку и выпуск полностью.

Первую мы всё-таки вывесили. Старик прикатил два винтовых домкрата, мальчишки подложили упоры, а Лунин сам показал, куда подхватывать машину и где ставить козелки. Работали медленно: уронить истребитель на стоянке было бы хорошим итогом борьбы за исправность. Потом Лунин сел в кабину. Он долго крутил рукоятку; колёса медленно ушли в ниши, потом так же медленно вышли и встали на замки. На этом потеряли почти час. Зато каждый увидел разницу между «проверил шасси» и «покрутил ручку у стоящей машины».

Оружие шло последним и только с оружейником: крепление, подача лент, контроль синхронизации носовых пулемётов. Я не полез туда руками. Назвал риск, а порядок проверки продиктовал человек, который отвечал за ШКАСы.

Первую машину мы мучили больше часа. На следующей уже не вывешивали шасси без признака неисправности и уложились быстрее. Так из полной карты вырос не новый регламент, а красная очередь внутри старого: семь мест, которые нельзя закрыть одной общей подписью.

Лунин слушал молча; взгляд держал в моторе. По лицу его ничего не читалось. Он не спорил.

— Полчаса на чистую машину, — прикинул Лунин. — Семь машин. Три с половиной часа, если ни одна не упрётся. А перед вылетом ещё отсев.

— Пока не выстроим очередь и не научим руки — да.

— А спать когда?

— А отказ в воздухе — когда? Трос лопнул на выходе из пикирования — сколько ты тогда поспишь?

Он помолчал. Долго. Потом надел очки, которые до того сдвинул на лоб, полез в мотор, и оттуда, из-под капота, глухо сказал:

— Семь точек, говоришь. Ну давай семь. Только не ты будешь ходить и командовать — я. И карту перепишу я. Они должны понять: это не лётчик отменил старый порядок. Это мы в старом порядке красным отметили, что откладывать нельзя.

Он разлиновал оборот старой ведомости: семь коротких граф на каждую машину, время и фамилия проверявшего. Пустая клетка означала не «потом», а «не выпускать». Так оно и легло — руками старшины, которого послушают.

Лунин отдал первую строку конопатому и велел проверить управление. Тот полез к доступному участку троса, дёрнул, посмотрел и уже потянулся за карандашом.

— Чего увидел? — спросил Лунин.

— Цел.

— Где цел?

Мальчишка показал пальцем.

— Это ты оболочку увидел. А у ролика кто смотреть будет? Немец?

Пришлось снимать крышку. Под ней трос лежал чистый, но конопатый уже не торопился расписываться. Протянул ветошь, проверил, не цепляет ли, потом позвал старика и заставил посмотреть вторыми глазами. Только после этого написал время.

Я хотел было подсказать ещё что-то, но Лунин покосился — и я отошёл. Здесь работа уже пошла без меня. Если бы я остался над душой, всё превратилось бы в соколовскую затею, которую терпят до первого удобного случая. Старшина сделал из неё свою смену и своих людей.

* * *

Первую ночь регламент никто, кроме нас, всерьёз не принял.

Мальчишки-мотористы обходили семь точек с показной старательностью: делали, потому что старшина велел, а не потому, что верили. Ворчали тихо, чтоб Лунин не слышал, но я слы-

шал: «барская затея», «лётчику делать нечего», «сами бы попробовали в две руки». Старый моторист не ворчал. Он поставил фамилию в первой графе, время — во второй, а в третьей вместо галочки написал: «трос чист». Лунин посмотрел и велел остальным писать так же — что именно увидели.

Самый языкатый, конопатый, выразился при мне прямо: летали, мол, деды без красных клеток, и мы летаем, а барину виднее. Лунин услышал.

— Деды по карте работали, — сказал он. — Ты карту потерял по дороге. Теперь вот эта. Не нравится — найди старую.

Конопатый уткнулся в масляный фильтр.

Он и доказал. Наутро.

Молодой моторист, тот, что ворчал громче всех, шёл по красным графам на машине Хромова — нехотя, для подписи. Снял сетку масляного фильтра, промыл её в жестянке с бензином и уже собирался ставить обратно, когда на дне жестянки блеснула тонкая серебристая спираль. Он позвал Лунина не громко, а как зовут, когда сами ещё не поверили. Старшина поддел находку ногтем, растёр между пальцами и велел принести чистую белую тряпку. На ней нашлись ещё две крупинки.

Лунин не стал гадать, подшипник это, палец или шестерня. Металл пришёл из мотора — этого хватало.

Машину сняли с вылета. Хромов летел бы на ней через час.

Он пришёл, когда капоты уже сняли и Лунин с фонарём выбирал, с какой стороны подступаться к мотору. Увидел красную черту поперёк номера в ведомости и сперва не понял.

— Это чего?

Лунин показал на зачёркнутый номер.

— Не летишь.

— Как не лечу? Дежурство моё.

Старшина показал ему белую тряпку. На масле серебрились две точки — такие мелкие, что их можно было принять за песок, если очень хотелось лететь.

Хромов посмотрел на них, потом на машину. Неделю назад он бы обрадовался отсрочке; теперь ему было стыдно остаться на земле, когда другие поднимутся. Он обошёл крыло, провёл ладонью по борту и вернулся.

— Она же вчера ровно работала.

— И сегодня заведётся, — сказал Лунин. — Может, даже взлетит. Дальше проверять станешь?

— На чём мне тогда?

Свободной машины не было. Это и оказалось ценой, которой в моих семи строках не помещалось: не только сон техников, но и один ствол в строю. Я мог сказать, что живой лётчик дороже вылета. Слишком правильные слова, особенно когда лететь вместо него предстояло другим.

Я встал между ним и снятым капотом.

— Сегодня останешься. На следующем вылете пойдёшь со мной. Если Лунин даст машину.

Хромов резко глянул на меня — решал, не отбираю ли я у него место после истории с Кравцовым. Потом снова посмотрел на стружку.

— Если даст, — повторил он.

Не согласился. Не спорил. Взял у конопатого ведро с грязным бензином и понёс к яме, освобождая руки тем, кто разбирал его мотор.

Молодой моторист держал стружку на ладони и смотрел на неё, как на вынутую пулю. Потом поднял глаза на меня — уже без вчерашней насмешки — и попросил карандаш. В графе «масляный фильтр» написал не галочку, а «металл; снята». И расписался полностью.

В следующую ночь семь точек обходили уже иначе. Пустых клеток не прятали общей подписью; если не успевали, машина оставалась в красной строке.

Машину Хромова вернули в эту строку только к вечеру. Лунин не стал чинить мотор догадкой: его сняли и отставили до разборки, а с машины, которой после налёта уже не собрать правую плоскость, переставили другой. Лебёдка над козлами скрипела весь день. Хромов работал вместе с мотористами — подавал ключи, таскал пустые ведра, крутил ручку запуска после установки. Под конец у него руки были чёрные до локтей, а злость прошла.

Новый мотор сначала прокрутили без запуска, потом дали ему поработать на малом газу. Лунин слушал каждый цилиндр, дважды снимал свечи и не подпускал Хромова к кабине, пока не проверил фильтр после пробы. Лишь тогда перечеркнул красную черту и велел записать в старой карте номер переставленного мотора. Семь граф не сделали исправный двигатель из больного. Они заставили вовремя отставить больной и заплатить за замену целым рабочим днём.

Об эффекте говорить было рано. За одну ночь порядок не делает старые моторы новыми. Но первый дефект он поймал до вылета, а не после: тонкая стружка осталась на ветоши, Хромов — на земле. Пока это было всё доказательство. Для войны и этого хватало.

Гришин заметил перечёркнутый вылет, жестянку и новую ведомость. Глянул в сводку исправности, буркнул, ни к кому:

— До вылета поймали. — Постучал костяшкой по бумаге. — С чего бы.

— Лунин приоритеты в карте отметил, — сказал я. — Семь опасных мест. Пустая графа — машина не идёт.

— Лунин, — повторил Гришин и посмотрел на меня. — Хорошо, что Лунин. Лунину — благодарность в приказе. А ты, Соколов, если ещё что надумаешь — сначала покажи ему, потом мне. Как договорились.

Он не отпустил меня сразу. Перевернул сводку, нашёл число исправных и ткнул в него карандашом.

— Семь было. Стало шесть. Это я сейчас вижу. А то, что седьмая когда-нибудь не упадёт, пока не вижу. Завтра у меня прикрытие колонны. Одной машины не хватает.

— Знаю.

— Нет, — сказал Гришин. — Знает тот, кто решает, кем закрыть дыру. Ты предлагаешь порядок — считай не только спасённое. Считай, что из-за него сегодня не сделано.

Я назвал Хромова и его машину. Назвал две работы, которые Лунин отложил ради красной очереди. На третьей запнулся: створку капота помнил, мутный прицел — нет. Лунин, стоявший у входа, добавил сам.

Гришин выслушал.

— Вот теперь разговор. Сколько отказов предотвратите, не обещай. Не знаешь. Через неделю сведём: сколько сняли до вылета, сколько вернулось неисправными, сколько часов съели. Если окажется, что вы только бумагу красите, я эту бумагу первый в печку суну.

— Правильно, — отозвался Лунин.

Он произнёс это раньше меня. Гришин постучал карандашом по его строке.

Канал, заданный после разговора с Веселовым, заработал: наблюдение, техник, командир. Не тайная тропа мимо папки — обычная ответственность по цепочке.

Цену за это платили не словом. Платили сном.

Лунин, старый моторист и двое мальчишек третью ночь спали урывками, привалившись на час к колесу и вскинувшись от собственного всхрапа. Днём латали боевое, ночью закрывали красные графы, перед рассветом делали короткий отсев. Пальцы были в ссадинах и масле, ввевшемся в трещины кожи. Младший однажды уснул стоя, с отвёрткой в руке у раскрытого капота; старик вынул отвёртку, закончил за него крепление панели и только потом разбудил: иди, поспи час.

За новый порядок платили ещё и тем, что откладывали. На одной машине не успели сменить помятую створку капота — привязали и оставили до вечера. Другую, с мутным стеклом прицела, отдали в самый конец очереди: летать могла, драться хуже, но тросы и мотор у неё были чистые. Лунин ругался над каждым таким выбором, потом сам ставил номер в порядок работ. Красные семь не прибавили рук. Они только не позволяли тратить последние руки дважды на одно и забывать то, от чего машина падает.

* * *

Первого июля, за полночь, по цепочке прошло глухое, спешное: боевая тревога. Пост наблюдения услышал моторы с запада; идут к нам или пройдут над нами, никто пока не знал.

Поле поднялось разом. Взревел, чихнув, первый мотор. За ним второй. Забегали тёмные фигуры. Лязгало железо. Кто-то в темноте выкликал по фамилиям дежурное звено. Пахло бензином, выхлопом, разбуженной ночью.

Хромов пробежал мимо к своей машине, на ходу натягивая шлемофон, — заспанный, встрёпанный, молчащий. Я поймал его за рукав.

— Машина верная. Семь точек — все, сам смотрел. Держись за мной, смотри назад, вперёд не лезь.

— Понял.

Он побежал дальше.

Я стоял у машины Хромова — той самой, с которой сняли стружку. Теперь красные клетки проверит не стоянка. Проверит вылет, в котором ошибку исправить нечем.

Я провёл ладонью по холодному, мокрому от росы борту. Проверено. Все семь. Больше я сделать не мог.

Дальше — небо.

Глава 8

Ночью аэродром слепнет.

Днём ты видишь поле, посадочное «Т», соседа на взлёте, лес по краю. Ночью остаётся чёрный провал, в котором где-то земля, где-то небо, а граница между ними угадывается только по тому, что в одной половине темноты есть редкие звёзды, а в другой нет. Летать в таком человеку на «ишаке» — без локатора, без прожекторной наводки, с фарой, которой нет, — значит спорить с темнотой на то, кто первый ошибётся.

Тревогу подняли в начале второго — по-настоящему, не как в прошлую ночь, когда немец прошёл стороной и мы простояли у машин до рассвета впустую. Над полем, высоко, ровно и чуждо гудели чужие моторы. Не наши: у наших звук тянется ровно, на одной ноте, а у этих — сытый гул с перекатом, толчками, будто по небу катили тяжёлую бочку. Бомбовозы. Шли на что-то в тылу — на станцию, на переправу, — и путь их лежал над нами.

Подняли дежурное звено. Меня — в нём, ведущим пары, и Хромова за мной.

— Соколов, — Гришин перехватил меня у машины, сунул в темноте руку на плечо, нашёл, сжал. — В драку не лезь. Не увидишь ты его толком. Отпугнуть, сорвать заход — и целыми домой. Живые машины мне нужнее сбитого бомбовоза. Понял?

— Понял.

— Садиться будете на костры. Три костра — старт. Не промахнись мимо земли.

Мотор я запустил с полуоборота. Ночью это слышишь иначе, чем днём: днём мотор — один из полусотни звуков, ночью он один на всё. Он взял ровно, без чиха, без переключки по цилиндрам. Вчера его осмотрели по красной строке; сегодня он работал. Связывать одно с другим было приятно и рано.

У Хромова стоял мотор, переставленный с разбитой машины. Луний держал ладонь у капота, слушал, пока стрелка давления не успокоилась, и только тогда ударил по борту: иди. Хромов дал обороты. Мотор выдержал пробу на земле; всё остальное ему предстояло доказать наверху.

К краю поля вынесли ещё две жестянки с керосином. Если мы вернёмся, их зажгут рядом с тремя кострами старта. Если не вернёмся к условленному времени, погасят: держать свет для немецкого штурмана никто не собирался. Гришин повторил это Хромову отдельно, заставил назвать время обратно и лишь после отпустил. Ночью приказ проверяли не кивком, а повтором.

Взлетали по узкой дорожке костров, на ощупь, задирая нос в черноту. Земля ушла — и не стало ничего: ни горизонта, ни низа, ни верха, только приборы, тускло-зелёные от подсвета, да гул. Авиагоризонта на «ишаке» не было. Положение машины приходилось собирать по частям: указатель поворота со скольжением, скорость, вариометр, высотомер, компас. Один прибор мог соврать или запоздать; вместе они хотя бы не врали одинаково.

— Второй, слышишь? — спросил я.

Сначала был только треск. Потом пробился Хромов:

— Слышу. Плохо.

— Держи мой огонь. Потеряешь — не ищи разворотом. Курс на поле, высота тысяча.

Он повторил курс и высоту. Я увидел его выхлоп справа и чуть ниже — там, где велел. Ночь уже отняла у нас половину способов держаться вместе; оставшуюся половину надо было не тратить на догадки.

* * *

Их я нашёл по выхлопам.

Впереди и выше, в черноте, вспыхивали и гасли короткие синие язычки — патрубки бомбовозов плевали огнём в такт моторам. Три пары. Шли строем, тяжело, уверенно, как ходят те, кого давно никто не трогал по ночам.

Я повернул. Хромов — за мной; в наушниках трещало его дыхание.

— Второй, не стрелять, пока не увидишь мою трассу. После очереди — вниз и влево. Повтори.

Ответ пришёл с провалом в середине, но смысл сохранился. Я не знал, сколько он понял из слов и сколько прочитал по моей машине. Этого должно было хватить на один заход.

Дистанция. Ещё ближе. Синие язычки росли, дрожали, звали.

Бей.

Я нажал. ШКАСы вспороли темноту трассой — двумя злыми плетью раскалённого света. Ночью трасса не ниточка, как днём. Ночью это плетё. И по ней немец видит тебя всего, до заклёпки. Я знал. Всё равно бил.

Трасса ушла к переднему. Лизнула борт. Мимо. Повернул. Ещё очередь. Мимо. Темнота съедала прицел, машина плясала, дистанцию на глаз в ночи не взять. Он был вот он. И его не было. Чёрное глотало всё — контур, размер, расстояние до чужой спины.

Хромов ударил следом. Его трасса прошла ниже моей, заставила крайнего бомбовоза отвернуть ещё круче. Строй распался. Одна машина отвалила вправо и вниз; под ней одна за другой раскрылись бледные вспышки сброса. Куда ушли бомбы, в темноте было не понять. Остальные развернулись от прежнего курса. Заход они сорвали. Гришин это и просил.

И тут ударили в ответ.

Стрелок заднего полоснул — красным, чужим, вспухшим прямо в лицо. Я бросил машину вбок. В пустоту. В никуда. Мир качнулся. Звёзды встали на место черноты, чернота — на место звёзд. Приборы поплыли. И на миг я потерял землю. Совсем.

Штопор в такую минуту почти не оставляет времени. Без горизонта поздно понимаешь, куда уже крутит машина, а земля не ждёт, пока разберёшься.

Я не дал ему свалиться. Убрал ногу, отдал ручку, поймал шарик, заставил себя верить стрелке, а не тому, что орал вестибулярный аппарат. Секунда. Две. Машина выровнялась. Мотор всё тянул — ровно, зло, без сбоя.

— Соколов! — Хромов в наушниках, сорвано. — Ушли! Уходят вниз!

— Вижу. Не гонись. Курс на поле. Доложи высоту.

— Девятьсот. Мотор ровно.

— Держи девятьсот. Я справа.

Гнаться в ночь за уходящим вниз бомбовозом — это лезть за ним в ту же черноту и в ней остаться. Мы своё сделали. Заход сорван.

* * *

Костры я нашёл не сразу.

Три оранжевые точки в огромной чёрной равнине — это очень мало. Дважды я прошёл стороной, ловя их то слева, то под крылом. При первом заходе высота сходилась плохо, и я ушёл вверх: второй круг стоил бензина, попытка дотянуть ошибку у земли стоила машины. На втором костры легли как надо.

Хромов я посадил первым. Не ради собственного удобства — на его машине только вчера сменили мотор, и если давление поползёт или звук собьётся, ждать в кругу ему нельзя. Он прошёл между огней ровно. Тень машины прокатилась по земле, несколько раз подпрыгнула и остановилась у края полосы. Тогда пошёл я.

Я зашёл следом. Убрал газ, повёл вниз, на три оранжевых пятна, растопырив пальцы на ручке, — и в последний, слепой миг, когда земли ещё не видно, а она уже вот, поймал колёсами то, что оказалось полем. Толчок. Ещё. Побежала, затряслась. Стала.

Я сидел, не снимая рук с ручки, и слушал, как в темноте остывает, потрескивая, мотор. Он не чихнул ни разу — ни на взлёте вслепую, ни в развороте у сваливания, ни на посадке между кострами. Это не доказывало, что красные клетки спасли вылет. Доказывало другое: две проверенные машины вышли и вернулись, а третью, с металлом в фильтре, ночью в небо не послали.

К машине уже бежали. Первым — Лунин, я узнал его по тому, как он двигался: не спеша даже бегом.

— Целые? — Он ощупывал ладонью борт, крыло, как ощупывают вернувшуюся с ночи скотину. Пальцы нашли рваную дыру у хвоста — стрелок всё-таки достал, одна пробоина, чисто навывлет, ничего важного. — Ага. Погуляли.

— Погуляли, — сказал я. — Оба мотора отработали чисто. На Хромовском после остывания фильтр посмотри.

Лунин ничего не ответил. Вытер ветошью руки, хотя они были в темноте всё равно что чёрные, и не мог он их вытереть дочи́ста, — вытер по привычке. Но я стоял близко и видел: он это услышал.

Он не сказал «вот тебе и семь точек». Просто пошёл к машине Хромова и по дороге велел конопатому приготовить чистую жестянку. После пробного дня новый мотор снова проверят на металл — уже по решению Лунина, не по моему напоминанию. Красная очередь стала его работой. Спорить с ним на его стоянке не стал бы никто.

Рассвет пришёл серый, мокрый, нехотя.

Хромов сидел на ящике у своей машины — той, где позавчера нашли стружку. Он держал в ладонях кружку, не пил, смотрел в неё. Отходил. Я знал это состояние: когда тебя ночью чуть не сняли, а ты сел, и руки уже не дрожат, но и не твои ещё пока.

И вдруг он свистнул.

Тихо, коротко, без мотива — так, одну кривую нотку в сырой воздух. Я поднял голову. Он свистел впервые с того дня, как под Кравцовым сомкнулось небо и Петька замолчал на неделю. Свистнул — и сам, кажется, удивился, что свистит. Поймал мой взгляд, чуть застеснялся, отвёл глаза.

— Мотор верный, — сказал он про свою машину, будто оправдываясь за свист. — Не тот. Другой. А летит так же.

— Потому и сменили, чтобы летела. Лунин был прав, что не пустил.

Хромов повертел кружку.

— Я тогда думал, вы меня после Кравцова от полётов отводите.

— Если бы отводил, сказал бы.

— Теперь знаю.

Он произнёс это без благодарности, и она была не нужна. Ведомый, который ждёт скрытого наказания в каждом приказе, опасен обоим. Сейчас хотя бы одна недоговорённость между нами перестала жить.

Он ещё раз свистнул — уже тверже, — и пошёл сливать из кружки остывший чай, чтоб налить горячего.

Почту привезли к завтраку — редкий по этим дням случай. Мне достался серый треугольник из рязанской Ольховки. Почерк матери я узнал. Положил письмо в планшет, не вскрывая: после ночи буквы всё равно поплыли бы, а её строки не хотелось читать вполглаза между двумя зевками. Сначала поплюю час. Потом отвечу — не обещанием вернуться, которого дать нельзя, а хотя бы датой и двумя честными словами: жив, летаю.

А над землёй уже вставал новый день, и день был не легче ночи. Ночью на нас ходили бомбовозы — тяжело, сыто, без страха, как ходят по улице, которую считают своей. Днём в том же небе висели истребители, и тот ведущий с жёлтым коком, с чьей четвёркой мы схлестнулись над переправой в первую неделю и кого я пометил для себя как метят на карте опасное место,

никуда из этого неба не делся. Его почерк — заход со стороны солнца, пара сверху в прикрытии, удар и уход вверх, не ввязываясь, — я теперь искал в каждом бою. Война поджимала с обеих сторон суток, и передышки между ними никто не обещал.

* * *

Пополнение пришло к полудню — три лётчика на замену тем, кого мы за неделю недо считались. Двое — мальчишки из ускоренного выпуска, испуганно-бравые, каких я уже навиделся. А третий был другой.

Он вылез из полуторки последним, не спеша, огляделся — не как новичок, которому страшно, а как человек, который прикидывает, куда он попал и что тут по чёму. Высокий, чуть сутулый, лет двадцати шести. Щурился по привычке, хотя дальний край поля и посадочное «Т» увидел раньше двух своих спутников. Мир для него словно был мелким шрифтом, который он всё равно взялся дочитать. Под мышкой держал планшет, и планшет этот был набит туго — не картами.

— Дёмин, — представился он Гришину, подавая документы. — Аркадий. Из-под Ленинграда, аэроклуб, потом инструктором. Налёт есть.

— Инструктором, — повторил Гришин, глядя в бумаги. — Это хорошо. Это мне надо. — Он мерил Дёмина взглядом, каким мерил всё новое: не понравится — приспособит. — Пойдёшь пока ведомым. Опыт опытом, а фронт свой счёт ведёт.

— Ведомым так ведомым, — легко согласился Дёмин.

Гришин отдал всех троих мне: показать стоянку, границы поля, щели, куда бежать при тревоге. Двое молодых слушали плохо. Один всё косился на машины и наконец спросил, которая достанется ему, будто у нас под брезентом стоял ряд запасных. Дёмин спросил другое:

— Где у вас разбились при посадке?

Я показал дальнюю кромку, где трава ещё лежала примятая и темнела земля от слитого бензина. Потом яму за леском, куда уносили то, что уже не поднимется. Молодые перестали выбирать самолёты глазами.

— Поле с запада проседает, — объяснил я. — После дождя там мягко. На взлёте не тяните к середине, держите левее. Ночью заход только по команде; огни могут погасить раньше, чем вы вернётесь. Потерялись — курс на восток до рассвета, в темноте аэродром кругами не ищите.

Один из мальчишек открыл рот спросить зачем, но Дёмин опередил:

— Потому что тот, кто ищет поле низко и кругами, первым найдёт землю. Запиши курс.

Он не повысил голоса и не щегольнул инструкторством. Просто дождался, пока оба вынут карандаши. Тогда я понял, почему Гришин при слове «инструктор» впервые за день перестал хмуриться. Дёмин умел заставить человека услышать, не унизив его перед строем.

У машин он сперва подошёл не к кабине, а к Лунину. Представился, спросил, что на этой площадке нельзя трогать без техника, и выслушал весь ответ. Лунин ответил сухо, но до конца. Для нового лётчика это уже было похоже на пропуск.

К вечеру, на привале, я увидел, что ещё лежало в его планшете.

Он сидел в стороне, привалившись к колесу, и читал. При свете переноски, при последнем свете, — читал книгу. Толстую, зачитанную до мягкости, без половины обложки, распухшую от того, что её без конца открывали. Я подошёл ближе — и узнал не книгу, узнал породу: учебник. Поля были сплошь в карандаше — выкладки, стрелки, чьи-то поправки к печатному, мелким злым почерком человека, который спорит с автором. На развороте, куда падал свет переноски, шёл чертёж крыла в разрезе, обтянутый штрихами воздушного потока, и поверх типографских стрелок Дёмин пустил свои, карандашные, под другим углом — будто поправлял самому воздуху, как ему течь над крылом.

— Аэродинамика, — сказал он, услышав меня. — Не спится читать про то, как мы держимся в воздухе? Все считают, что держимся на моторе. А мы держимся на разнице давлений,

которую никто не видит. — Он прищурился, приглашая к спору. — Садись. Ты сегодня поле объяснял не как молодой ведущий. Как инструктор.

Мне было интересно. В этом и была беда.

Сначала он спросил про ночь. Почему я ушёл со слишком высокого захода, хотя бензина оставалось мало; почему Хромова посадил первым; на что смотрел, когда потерял горизонт. Вопросы шли не для похвалы. Дёмин разбирал чужой полёт так же, как свою карандашную строку: где причина, где привычка, где везение.

— Указатель поворота, скорость, вариометр, высота, — перечислил я. — По одному не верить. Если тело говорит одно, а три прибора другое — тело подождёт. Высокий заход у земли не дожимать. Уйти и построить заново.

— «Тело подождёт», — повторил он и записал на свободном поле. — Хорошо сказано. На слепых полётах так и учат, только обычно длиннее и хуже.

— Значит, ничего нового.

— Нового мало бывает. Вовремя вспомненного ещё меньше.

Он перевернул страницу. Там шёл срыв потока — крыло перестаёт держать, когда угол становится велик. Дёмин ткнул карандашом в свою заметку:

— Вот тут у меня не сходится. Наш «ишак» в штопор валится, как топор, — мгновенно, без предупреждения. Пишут, дай ногу против да ручку от себя — и выйдет. А он не всегда выходит. Почему один и тот же самолёт с одним и тем же лётчиком то выходит из штопора, то нет?

— Здесь книга не врёт, — ответил я. — Но одной строки мало. Штопор бывает разный, нормальный и плоский ведут себя не одинаково. И машина после ремонта может быть уже не совсем той, на которой ты упражнение учил. Выход отрабатывают по инструкции именно этого типа, с запасом высоты и инструктором. В бою угадывать поздно.

Я договорил — и услышал себя. Со стороны.

Карандаш, который он всё вертел в пальцах, остановился. Дёмин смотрел уже не на книгу.

— Про плоский нам на инструкторских тоже давали, — проговорил он. — Не тайна. Только ты отвечаешь не как тот, кто запомнил правильный пункт. Ты сначала ставишь границу, где пункт перестаёт работать. Так отвечают после десятка учеников, которые каждый ошибся по-своему.

— Летаю. Разбирали в школе.

— В какой?

Я назвал школу Соколова. Название вышло легко — его я знал из бумаг. Дёмин кивка не дал. Перелистал назад, нашёл запись о ночном заходе.

— А слепых часов у вас сколько давали?

Этого я не знал. Можно было назвать число наугад, но рядом сидел человек, который сам выпускал курсантов и услышал бы неверную цифру быстрее Веселова.

— Мало, — ответил я. — Сегодня прибавилось.

Дёмин усмехаться не стал. Подчеркнул «уйти и построить заново» одной прямой чертой.

— Ладно. Число мне не нужно. Завтра этих двух погоняем по указателю на земле: я буду давать положение, они — говорить, чему верят и почему. Ты придёшь.

Это прозвучало не просьбой о признании и не ловушкой. Он брал полезное в работу — так же, как Лунин брал красную строку. Отказать значило бы сделать свой страх важнее двух мальчишек, которым завтра лететь.

— Приду.

Веселов складывал несообразности в папку. Дёмин превращал их в вопросы и тут же нёс другим. От первого можно было отмолчаться. Со вторым молчание означало оставить новичка без ответа.

— Тогда спи, лётчик. Завтра сначала земля, потом опять небо. — Дёмин сунул книгу в планшет, затянул клапан и поднялся. — А про штопор ещё договорим. Не потому, что ты тайну знаешь. Потому, что строка и правда короткая.

Он ушёл к своей машине, и книгу нёс с собой — в планшете, под мышкой, как носят не устав, а то, с чем не расстаются.

Утром он приведёт двоих. Я обещал прийти. Впервые человек, заметивший во мне лишнее, получил от меня не отговорку, а срок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.